

Б И Б Л И О Т Е К А

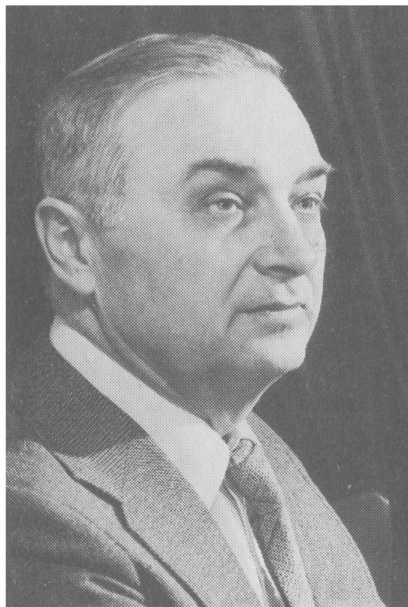
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 6

1989



*Ион ДРУЦЭ*

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»

**САМАРИТЯНКА**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 6

Ион ДРУЦЭ

# САМАРИТЯНКА

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1989

## Ион ДРУЦЭ

Ион Пантелеевич Друцэ родился в 1928 году на севере Молдавии. После службы в армии сотрудничал в молдавских газетах и журналах. Окончил, в 1957 году, Высшие литературные курсы. Наибольшую известность принесли автору его работы для театра. «Каса маре», поставленная в 1960 году в Центральном театре Советской Армии, прошла более чем в ста театрах и продолжает свою сценическую жизнь до сих пор. За ней последовали «Птицы нашей молодости» (Малый театр, 1972 г.), «Возвращение на круги своя» (Малый театр, 1975 г.), «Святая Святых» (ЦАТСА, 1976 г.), «Праздник души» (Театр Маяковского, 1978 г.), «Обретение Бога» (ЦАТСА, 1988 г.).

Все эти годы не прекращалась работа над прозаическими произведениями. Три романа — «Бремя нашей доброты», «Запах спелой айвы», «Белая церковь», — хотя и вызывали острые споры, печатались и издавались как в Советском Союзе, так и за рубежом.

Последние, наиболее полные издания: Избранное, в двух томах (Молодая гвардия, 1984 г.) и Святая Святых (Советский писатель, 1984 г.).

Народный писатель Молдавии. Живет в Москве, пишет на молдавском и русском языках.

## ЖИВОЙ ГОЛОС НАРОДА

Они шли в пешем строю, бесконечными колоннами. Они ехали длинными автоколоннами — солдаты в кузове, пушки, прицепленные к грузовикам, мягко тряслись на ухабах. Они шли по двое, трое или в одиночку, шли по лесным, степным, незнакомым им тропам, продвигаясь к сердцу Европы, на запад. Рядовые пехотинцы, медицинские сестры, офицеры связи, прифронтовые сиротки и вся та огромная, могучая и неукротимая волна, которую называли фронтом.

Вставай, страна огромная...

Весь мир был тогда в движении, шла великая, казалось, последняя на этой планете битва... Четыре года через нашу маленькую деревушку двигались армии, фронты, солдаты. Я не помню теперь ни их лиц, ни их погонов, ни чем они были вооружены, но помню все их песни. То ли потому, что доводилось им проходить через наши края весной или летом, то ли приказ им был дан такой, а может, душа того требовала, но почти все солдаты пели. Они пели строем, пели, сидя в своих грузовиках, пели за скромной трапезой в крестьянской хате. Мы, подростки и юноши тех лет, хватали их песни на лету и с теми солдатскими песнями вступали в будущую жизнь.

Три-четыре строфы, припев да незатейливая мелодия, но какое это великое явление — живой, человеческий голос, какая удивительная мощь! Поразительна способность песни впитать в себя и зацементировать на вечные времена определенное состояние человеческого духа. На своей скромной маленькой площадке песни способна вместить в себя и историю страны, и горе народное, и превратности отдельной человеческой жизни, и запахи трав в пору сенокоса, и длинную вереницу осенних перелетных птиц, и печаль одиноко растущей в поле вишенки, и трепет едва уловимой человеческой мечты, а всего-то делов — три-четыре рифмованные строчки да припев, да нехитрая мелодия...

Иногда по отношению к произведениям искусства так же, как и по отношению к живому человеку, применяется емкое, несколько загадоч-

ное определение — судьба. Говорят, например, судьба такого-то романа, судьба такой-то пьесы, судьба такого-то фильма. Они и вправду чем-то загадочны, эти произведения искусства, если последить за тем, как они прорастают в нашу жизнь, как ширится и углубляется их влияние, как неведомые нам дотоле события вдруг переплавляются и становятся нашим собственным жизненным опытом. Созданные иногда по случаю, по заказу, мельком, на ходу, эти песенки вдруг начинают спорить с самым главным властелином нашего бытия — с временем, и, созданные на одну спевку, для одного вечера, они затем живут долгие годы и трудятся без устали на фронтах той невидимой и яростной борьбы, которая называется духовной жизнью народа.

Откуда они берутся, эти песни? Трудно сказать. Художественная энергия общества движется по тем же законам, что и подпочвенные воды, — мы не владеем точной картой накопления и формирования этих вод, но в нас постоянно живет крайняя жизненная необходимость приобщения к этой влаге. И хотя мы не знаем, где и как текут эти подземные источники, мы их постоянно ищем и находим там, где они сквозь земную толщу прорываются на белый свет. По этим же вот законам мы и не можем предугадать, где и когда родится задушевная песня, но мы всегда готовы к встрече с ней. И они к нам идут, эти песни, идут, как и подпочвенные воды, длинными и трудными путями.

Бывает, что об определенном периоде в жизни народа пишутся рассказы, повести, эпопеи, затем снимаются фильмы и ставятся спектакли по этим произведениям. И когда уже кажется, что история свершилась, сказав свое последнее слово, вдруг двое мало кому известных художников по заказу не то радио, не то телевидения сочиняют небольшую песенку. И в один прекрасный день, вместе с радиопередачей «С добрым утром» или с другой какой передачей, эта песенка врывается в жизнь страны с такой энергией, проникает в такие глубины человеческого существа, переворачивает и переосмысливает такие пласты пережитого, что вдруг начинают тесниться вчерашние шедевры, и эта крошка, переняв у них пальму первенства, сама становится Историей.

Бывает, конечно, и иначе. Бывает, что по горячим следам событий, где-то в пустынном поле, на помятом тетрадном листочке родится произведение такой глубины и неповторимости, что потом, когда отшумят великие события, когда художники вселятся в удобные дома, засядут за полированными письменными столами и начнут писать на прекрасной финской бумаге, им не подняться уже будет до той высоты полета, до той пронзительной и светлой грусти, которая им так легко, с ходу, далась в том пустынном поле.

Бьется в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза.

Великие потрясения, как правило, нарушают структуру первоэлемента жизни общества — семью. Наступает час, и люди расстаются. Одни на время, другие очень надолго, третьи навсегда. Тоскует сердце, тоскует душа, тоскует все человеческое существо, и кто помнит войну, тот, несомненно, помнит и эту массу живых, тоскующих голосов. Явление это древнее, как, может быть, древни войны на земле, но оно лежало растворенным в воздухе, пока не пришел поэт и не облек в слова то, что так долго и так упорно просилось наружу.

Я хочу, чтобы слышала ты,  
Как тоскует мой голос живой...

Песни Великой Отечественной войны — явление удивительно чистое и благородное. Они не дают на тебя сложной художественной конструкцией, они не будят в тебе великие вопросы, чтобы потом оставить где-то в поле на одинокой тропке. Эти песни идут к тебе или не идут, запоминаются или не запоминаются по тем же законам, по которым один человек шел и увидел небо над головой, а другой шел рядом, но неба не увидел, хотя в те годы небо открыто было всем и песни шли к любому и каждому.

Еще не высохли чернила, которыми писал поэт, мелодия еще лежит в черновых нотных записях, а песню уже поет вся страна. Не слушает, а поет, именно поет, перенимая мелодию друг у друга не с кассеты, а с живого голоса на живой. И они живут в народе, эти песни, живут, думается мне, главным образом потому, что они вошли в наше сознание не голосами модных эстрадных певиц, а запомнились пропетые нашими собственными, усталыми, простуженными и неумелыми голосами.

Между прочим, стоило бы поговорить о традициях, о культуре голосового, или, как его еще называют, вокального искусства. Технический прогресс не должен оборачиваться против красоты и богатства человеческой индивидуальности, иначе этот прогресс может легко превратиться из нашего союзника в нашего врага. Широкое распространение звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры прекрасно само по себе. Оно играет огромную роль как проводник культуры в массы, но это же явление имеет и свою негативную сторону. Благодаря множеству всевозможных передатчиков мы ежедневно так окружены профессиональными или полупрофессиональными исполнителями мелодий, что подчас эти механически воспроизведенные песни начинают глушить наши собственные живые голоса. А человек для полноты проживаемой им жизни должен обеспечить свои нужды собственным голосом, как бы тих, как бы неловок он ни был. Человек должен культивировать и всегда ощущать, всегда чувствовать свой собственный голос, потому что голос — это формула свободы, гарантия достоинства, величайшее проявление духа, и в трудные дни испытаний человека поднимали на подвиг, на верную смерть поднимали не чужие голоса, а его собственный живой голос.

Темная ночь,  
Только пули свистят по степи,  
Только ветер гудит в проводах,  
Тускло звезды мерцают...

Какое-то время после войны эти песни составляли главное содержание нашей культурной жизни. Их было великое множество, популярны они были чрезвычайно — вероятно, и сегодня еще в душе каждого человека старшего поколения все теплятся угольки тех своих заветных песен. Эти песни вместе с небогатой еще тогда военной прозой составляли главное богатство нашей литературы. Наращивание походных мотивов продолжалось долгие годы. Создание художественной летописи народа, которая наравне с научной составляет главный остов общественного сознания, не всегда по плечу одному поколению. С приходом молодых художников мотивы прошлого, тема войны продолжали углубляться, выкристаллизовываться, хотя, разумеется, вместе с ней развивались и другие темы. Время брало свое. Страна жила первыми послевоенными новостройками, целиной, на смену военной прозе шла уже проза деревенская.

Война, уходя в прошлое, становилась на наших глазах Историей. Могилы павших прорастали из года в год новыми поколениями трав. Ветераны уже передали своим потомкам все, что они помнили, все, что они считали существенным и поучительным. Многотомные труды о минувшей войне уже переводились на другие языки. Эпопеи, фильмы и спектакли, в каком-то смысле суммировав прошлое, исчерпали тему. Но жажда все еще не проходила, и человек, прошедший войну, все еще оставался в ожидании единственного, неповторимого образа второй мировой войны...

Кажется, никогда ни одна победа не заставляла свой народ так часто и так долго перебирать ее свершения, как победа советского народа во второй мировой войне. Трудно сказать, почему это происходит. То ли величие и неповторимость подвига тому причиной, то ли состояние духа народа не дает себя забыть, то ли волнует душу та воистину библейская цена, которую пришлось заплатить.

Люди часто вспоминают войну. Люди тихо, по ночам перебирают про себя пройденные пути-дороги, и потому, может быть, родники художественных поисков по-прежнему хлопочут там, под землей, а затем нет-нет да и прорвутся холодной, чистой влагой.

Здесь птицы не поют,  
Деревья не растут,  
И только мы,  
Плечом к плечу,  
Врастаем в землю тут...



Прекрасный фильм «Белорусский вокзал» пришел к нам с некоторым опозданием, он, несомненно, создан уже новым поколением художников, но стоило ему выйти на экраны, как вдруг вся страна запела. Казалось, фильм вывел эту песню на орбиту, как ракета выводит корабль, и оттуда, из космоса, поэт поведал нам о судьбе десятого десантного батальона.

Горит и кружится планета,  
Над нашей Родиной дым,  
И, значит, нам нужна одна победа,  
Одна на всех,  
Мы за ценой не постоим...

Для меня до сих пор является загадкой: каким образом этому фильму и этой песне удалось воскресить во многих миллионах образ минувшей войны? Ведь мы уже не то что в другом веке, мы уже в другой эпохе живем. Другой выглядит карта мира, другим выглядит человек. Он уже побывал в космосе, он уже прикоснулся к другим планетам. Великие научные и технические открытия сопровождают нас всю жизнь, мы настолько к ним привыкли, что даже не реагируем на них. Сегодня нас как-то не особенно волнуют ни гипотезы о существовании антиматерии, ни расшифровка законов наследственности, ни возможность существования других миров. Но вот одна-единственная строчка, живой неповторимый голос Марка Бернеса, и миллионы содрогаются под бременем своих воспоминаний.

Они до сей поры с времен тех дальних  
Летят и подают нам голоса...

Впрочем, жизнь и в самом деле берет свое. Еще недавно основным составом населения нашей страны были сами участники войны, потом стали на их место сыновья. Завтра-послезавтра вступают в свои права внуки. Все меньше и меньше печальных ветеранов собирается в День Победы в скверик перед Большим театром, все меньше живых свидетелей тяжелых переправ, тех, кто утонул в болотах и штурмовал безымянные высоты. Теперь подвиги страны исчисляются другими параметрами, другими категориями.

И вдруг совсем уж как-то неожиданно:

Этот День Победы порохом пропах...

И опять, в который раз, песня потрясает страну. И опять же поэт рифмой прикоснулся к нашей так долго не заживающей ране, а композитор высветил мелодией то, что так долго носилось в воздухе, то, что так долго клокотало там, под землей, пробиваясь к нашей извечной жажде.

Но, однако, стойте, ведь времени столько прошло с тех пор! Воздух уже не тот, и земля не та, и воды наземные, воды подземные стали другими. И тогда встает вопрос: откуда же они все еще берутся, эти песни времен минувшей войны? Неужели опыт этой борьбы стал генетически передаваться из поколения в поколение, неужели еще через многие и многие годы у нас все еще будут появляться песни о второй мировой войне, и эти песни, дохнув на нас прошлым наших отцов, потрясут и очистят нас накалом и идеалами той великой борьбы?

Этот День Победы—  
                        порохом пропах,  
Этот праздник—  
                        с сединою на висках,  
Эта радость—  
                        со слезами на глазах...

Мое поколение не участвовало в войне. Мы видели ее глазами подростков, запомнили в каких-то случайных отрывках, но все-таки мы дышали ее воздухом, слушали ее канонады, и эта война осталась с нами на всю жизнь. Она служит нам эталоном гражданственности, пробой на честность по отношению к себе, к стране, к миру, она является для нас живой ниткой преемственности той великой борьбы, в которой сражались не ради славы, ради жизни на земле.

1977

# ОДИНОЧЕСТВО ПАСТЫРЯ

Овечек, правда, не было. И ходил-то он медленно, степенно, добротно хватая землю всей ступней, как ходят обычно горные пастухи, прожившие на склонах Карпат не одно поколение; и скуп на слова был, как и весь пастуший род, которому и поговорить-то не с кем; и печаль была в глазах, печаль не столько от пережитого, сколько от того, что предстояло еще пережить.

Хорошо владел посохом и голосом. Посох у него, верно, был не очень, зато голос был звонкий, солнечный, празднично-народный, из года в год, из века в век обкатанный на светло-печальных переливах народных песен. Некоторые даже опасались того голоса, ибо, согласно молве, за обветренным кадыком таился вопль такой устрашающей силы, что мог и скалу расколоть, и поднять на ноги глубокой ночью дремучий лес.

— А что тут такого? — говорили те, которым с голосами не очень повезло. — Если, к примеру, всю жизнь возиться с овечками, полоская

по утрам горлышко парным молоком, а в обед и на ужин поесть вдоволь каш, ту самую несоленую еще брынзу, которая вкусна и полезна бог знает как...

Надо отдать ему должное, он не рушил скалы и не будоражил леса попусту, ибо был по натуре своей тихим, покладистым. Не любил держать кого-либо в страхе, не любил, чтобы другие вгоняли его в панику, и только если речь шла о жизни и смерти отары, им пасомой... В остальном держался в стороне, ни на что особенно не претендуя, но не тут-то было. Пастырство почему-то всегда и повсюду вызывает несказанный интерес.

— Как живется-можется?

— Добре,— обычно говорил он, ловко заслоняя светлыми улыбка-ми тяжёлый вздох, и спешил своей дорогой, потому что ждут овечки, а отары, как известно, живут по своим законам. Во всем краткость, умеренность, здравый смысл. И уж он соблюдал этот закон отары, как никто другой. Умерен был в хлебе насущном, умерен в самолюбии, умерен во всех тех греховных фантазиях, на которые тратится больше времени и слов, чем они того заслуживают. Выросший и возмужавший на овчарне, под необъятным куполом неба, день за днем, год за годом, один на один с образом вечности, пастырь в конце концов усвоил ту великую истину, что ничто не вечно в этом мире, а уж если пастух что усвоит, то это навсегда.

Носил высокую каракулеву шапку. Как надел, так и носил, не придавая ей никакой другой формы из уважения к шкурке барашка и искусству меховщика. Летом — соломенная шляпа с широкими полями, длинная, до колен, полотняная рубашка, перехваченная у пояса широким, в ладошку, ремнем, в тайниках которого постоянно лежали кресало и кремь, так что, если бы вдруг, в одночасье, не дай бог, погасли бы огни на всей вселенной, ввергая род людской в пучину темени и холода, с него бы началась новая жизнь на нашей планете.

Знал все, что только можно знать о терпеливом блеющем мире, и те, у кого водились какие-никакие овечки, а овечки, как известно, существа нежные, подверженные всяким хворям, они, чуть что, и к нему. И такое у него было доброе сердце и такая у него была легкая рука, что заведешь к нему во двор доходягу, а выводишь ярокчу, с которой либо-дорого пройти по селу. Казалось, бог создал его именно для того, чтобы не перевелся род молчаливых, безропотных наших спутников, кормивших и обогревавших человечество на протяжении многих тысячелетий. Пастырь знал о высоком своем призвании, гордился им, достойно исполнял все его заветы, но...

Овечек не было. Пастух из древнего пастушьяго рода, пастух с головы до ног, пастух по тому таинственному наитию, которое есть явление не столько земное, сколько небесное,— и, поди же ты, пасти некого, хоть плачь. Что-то случилось там, на дальних холмах, еле выглядыва-

вшим из той голубой дали... Что-то там стряслось. То ли был падеж, то ли пропала отара, то ли ее отняли. Намаялся, настрадался, и ничего ему не оставалось, как вернуться к своим корням. Возвращаясь, присел отдохнуть на том, последнем холме, за которым в низине лежала родная деревня. Посмотрел на голубевшие вдаль холмы, на лежавшую у его ног деревню и решил на том гребне холма и зажить, потому что трудно после былого приволья сунуться в людскую толчею.

Недолго думая, на унаследованном от родителей клочке принялся сколачивать хибару. Дальние родственники вызвались было помочь, но он отказался от их услуг, ибо пастыри, как известно, предпочитают жить в домах, построенных собственными руками. Старался вовсю. Ни сил, ни ловкости ему было не занимать, и тем не менее воздвигнутое им строение очень уж напоминало овчарню. Со временем, как это повсюду принято, обвел участок забором, появились там, где им и надлежало быть, ворота, калиточка, но забор что-то очень уж смахивал на загон для овечек, калитка напоминала собой струнгу, узенький проход, который делается для того, чтобы не путать выдоенных овец с теми, которых предстоит еще выдоить.

— А что вы хотите, — посмеивались односельчане, поглядывая на вершину холма, — если эти года в год жить на овчарне и ничего, кроме загона и струнги не видеть...

Летом обычно молдаванки, чтобы избежать домашней духоты, мастерят печурку где-нибудь в глубине двора и там готовят. Чтобы не отстать от других, он тоже приволок откуда-то три здоровенных камня, расположил их таким образом, чтобы можно было меж ними развести огонь, и варил себе по вечерам мамалыгу. Поговаривали, что, кроме этого скудного варева из кукурузной муки, он еще что-то там себе готовит, потому что, в самом деле, может ли такой голос держаться на одной постной мамалыге? Те, что жили по склону холма, поближе к нему, утверждали даже, что ужинает он — дай бог каждому так поужинать, но эти сообщения развеселили всю деревню, ибо, в самом деле, если пусто во дворе, во что бы он мог макать свою мамалыгу?!

Овечек, правда, не было, но от тех хворых, которых к нему приводили, оставались рассыпанные по двору орешки. Убрать их — первейший долг пастыря. По вечерам, когда на низину накатывали сумерки и наступало время отдохновения, время просветления, он подметал свой дворик, засыпал тлеющие меж камнями угли дворовым мусором. Сидел, задумчивый, возле своего костра, возле своего дымка, а тем временем из низины медленно поднимались сумерки. И когда они добирались до самого его домика, до самой его души, доставал откуда-то старенькую свирельку и, как это истари водится среди пастухов, коротал вечер наедине со своей печалью.

А вечера на юге светлые, длинные. И уж вечереет, вечереет, а все не стемнеет никак; сумерки накатывают вал за валом, а все еще светло. Маята той одинокой свирели вместе с дымком мягко стелилась над дерев-

ней, как некая благодать... Мужики попроворнее, те, которым всегда было что во что махать, посмеивались над этими небесными дарами. Вернулся, мол, с дальних холмов, подоил отару и, пока вечернее молоко превращается в утреннюю брынзу, рассказывает овечкам небылицы. Иной раз, бывало, эти ядовитые остроты доходили до ушей пастыря, но он не был обидчив. Смелся вместе со всеми. И вот еще день прошел, и опять спускающиеся сумерки близко, как ничто в этом мире, соприкасаются с душой, с судьбой, и так нужен в этот миг заветный, великий, вечный глас, так хочется чего-то неземного...

Было в высшей степени странно, что эта неказистая, замусоленная, сделанная из какой-то коряги свирель обладала таинственным даром будоражить души, вытаскивать их из трясины будней, омывая от суеты, вводить в храм мечтаний, увлекать непостижимыми замыслами... Они шли гурьбой, всей долиной, за ним, и, глядишь, то одна, то другая душа оторвалась от земли, взмыла, купаясь в голубизне, ибо, в самом деле, сколько можно босиком по пустырям, да по колочкам, да по оврагам...

Когда, налетавшись, счастливые пахари опускались в долину, окликали его песенкой, которой издавна селяне подбивали пастухов:

Молодец с той верховины,  
Ты бы к нам направил путь!  
Брось отару и заботы,  
Недочеты и хлопоты  
И сыграй чего-нибудь...

Подавшись на приманку, он засовывал свирель за пояс и спускался, чтобы посмотреть, как они там, в долине. Шел прямо к тому излюбленному месту, которое в одних деревнях называется толокой, в других — майданом, но суть которого в том, что, расположенный, как правило, между церковью, школой и кладбищем, тот пятачок земли годился буквально для всего. Там устраивались праздники, игры, сходки; там обменивались новостями, мерялись силой, а то и молча посидят на теплой земле, друг возле дружки, потому что быть народом вовсе не означает с утра до вечера выяснять, кто кого богаче, умнее да сильнее.

Хоть и был он легок на подъем, в массе людской не растворялся. Выросший и возмужавший на склонах холмов, в нелегком общении с самим собой, он и в толпе умудрялся каким-то образом оставаться под сенью собственного одиночества. Это, конечно, многих раздражало. Ты смотри, какая цаца... Видывали и не таких... Ну-ка, сыграй ту, веселенькую, да пригласи ту, молоденькую... Долина распалая саму себя до того, что река всеобщего веселья в конце концов засасывала и пастыря в свою пучину. Разгулявшись, он становился весельчаком и острословом, каких мало. И если скажет за стаканчиком слово, так скажет, если пожелает что кому, то, как говорится, дай только бог. Он мог бы стать хозяином, главой всей долины, если бы не та странная привычка. Нет,

он не прятал глаза, но взор его вдруг обращался вовнутрь, и, глядя на человека, пастырь уже как будто и не видел его.

Благодаря этим поминутным уходом он оставался трезвым в самом анафемском загуле, в самой дикой круговерти. Похоже, ему даже нравилось быть трезвым, когда все вокруг сходят с ума. Есть порода людей, в которых неистребимо живо отеческое начало, они кажутся рожденными для того, чтобы молча, по-патриаршьи восседал во главе стола. А на долину нет-нет, да накатит какая-нибудь блажь. То поспорят, кто кого перепоеет, то кто кого перепляшет, то все вдруг становятся детьми, смеясь и дурачась до упаду. Но чтобы, не дай бог, не натворить бед, кому-то нужно было оставаться за взрослого. Пастырь безропотно соглашался оставаться трезвой головой при чужих гулянках. Правда, иной раз отвлечется, вздохнет, его глаза начнут блуждать по тем дальним холмам, которых и в полдень, в хорошую погоду, не всякий разглядит.

— Пошел овец искать,— посмеивался над ним разгуливающая долина.

Одинок был, как перст. Ни жены, ни детей, потому что пастушество — это не столько занятие, сколько призвание, крест на всю жизнь, ибо тот, кто взял посох и сказал «пошли», и отара послушно двинулась за ним, вверив ему свою судьбу, уже не сможет больше без овечек, так же, впрочем, как и овечки без него.

Односельчане относились к нему с уважением, которое больше смахивало на зависть. Поражались, например, его необычайной силе, хотя те, которых он одолел, не отрицая того, что лежали на лопатках, добавляли при этом, что, если бы и им суждено было гулять за отарой, балуя себя мамалыгой да овечьей брынзой, уж они бы ему показали, что такое настоящая борьба.

Говорили, скуп на слова как тот пастырь. И в самом деле, когда он опускался в мир своих раздумий, слова из него не вытацишь. А чего это он копит про себя словечки, на что бы они могли ему пригодиться, удивлялась долина. Солит он их, что ли? Насплетничавшись вволю, вздохнут и подумают про себя: конечно, когда у тебя отара и верные овчарки стерегут твоё добро, можно не то что день, можно и год прожить, не проронив ни слова, а когда гонят в хвост и в гриву и ты весь в поту да в обидях, попробуй выдужи, не отлаявшись по крайней мере!

А еще временами говорили — башковит, как тот одинокий пастырь. При всей его замкнутости и молчаливости в трудную минуту, когда расстроенная долина прикидывает, что да как, и ничего путного на ум не идет, вдруг он, спустившись с холма, молвит как бы про себя словечко, которое так и прошьет, — не слово, а чистое золото! Конечно, говорили потом те, которым на роду писано нести чушь да ахинею, — конечно, если отгородиться от всех и, живя в одиночестве, истреблять в зародыше все глупости, какие ни придут в голову, в конце концов поумнеешь. В долине тоже далеко не все дураки. Есть и очень даже умные, да что

толку, когда сторают в дыму никому не нужной болтовни. Если бы загнать их в одиночество да если бы и им дано было помалкивать, они бы тоже, может, в трудную минуту изрекли бы чего-нибудь этакое...

А еще говорили — святой, потому что веяло от него покоем, и ничего низкого и грязного к нему не приставало. При нем нельзя было сказать грубое слово, нельзя было оскорблять, воровать, нельзя было крикнуть душой. А мир по-прежнему греховен, и бремя греха по-прежнему давит. И наступает пора, когда душа человеческая хочет умыться, чтобы стать самой собой, она жаждет чистоты, ничего, кроме чистоты. По вечерам, возвращаясь кто с поля, кто из леса, кто из города, норовят войти в село через гребень холма так, чтобы хоть пыль отряхнуть со своих ног у его порога.

Пыль, конечно, тоже можно по-разному стряхивать. Одни просто тихо пройдут мимо, потому что пыль, она пыль и есть. Не угладишь, когда пристанет, не видно, когда сходит. Другие нарочно остановятся, высоко поднимут левую ногу, потом правую, а сами тем временем глазюк через забор: где там у него связанная узлами, подвешенная к балке свежая брынза? Где чаны с вкусной, кисленькой сывороткой? Если хорошо поискать, завсегда можно в чужом дворе увидеть то, чего тебе особенно хочется, а увидав, так и тянет руками потрогать. Калитка, однако, закрыта. Прохладные вечера — самое время пасти измученную дневной жарой отару, и его, конечно, нету дома.

Но даже когда они его и заставляли, толку было мало. Заметив гостей у ворот, пастырь выходил, полный доброжелательности. Сняв шляпу в знак приветствия, застывал, весь внимание. А те знай себе переливают из пустого в порожнее, полагая, что когда хозяину надоест их слушать, он пригласит в свой дом, угостит брынзой, сывороткой, если не их самих, то по крайней мере малышей. Да неужели он не видит, как они сучат ножками, как текут у них слюнки? Неужто ему не хочется вместе со своим домом осесть в памяти этих малюток, чтобы они запомнили на всю жизнь, как шли они по гребню холма и тот одиноко живущий человек пригласил, угостил. Видит бог, он бы, конечно, с дорогой душой, но...

Овечек не было.

Хорошо. Положим, не было овечек, но в таком случае можно ли считать себя пастырем, если овечек нету?! Бывает, конечно, что у какого пастыря вдруг не стало овец, но если проходят годы, овечек все нет, а ты все еще числишься в пастырях, то что это, если не шарлатанство? В другое время за это голову снимали! Насупившись, нахохлившись, долина начинает высиживать свои мелкие обиды в ожидании, когда из них вылупятся птенцы благородного гнева.

Особенно весной неистовствовала долина. С марта месяца, как только наступало время окота овец, и до мая, когда отары уходят на пастбище, долина — сплошное ожидание. По старинному пастушьему обычаю, после окота полагается угощать соседей и односельчан дарами стада тво-

его, дабы удача тебя и впредь не покидала, но время идет, уже лето на носу, а приглашения нет как нет. Изведенная в конце долины утверждала, что такого кулака и скупердяя мир еще не видывал. Другие, правда, старались смотреть на это иначе, говоря, что он, бедняга, может, и рад бы, но...

Слышали, слышали. Овечек нету. А если так-таки нету овечек, откуда в нем столько силы? Можно ли, питаясь одной мамалыгой, положить на лопатки всю деревню? А тот овчинный тулуп, широченный и длинный, до самых пят, он что, с неба свалился? А серая каракулевая, отдающая голубизной кушма? Можно ли пошить себе такую шапку, не имея по крайней мере двести — триста овечек, чтобы было из чего выбирать? А кремень и кресало? Чего таскать их с собой, если не блуждаешь с отарой по горам? И кому, скажите на милость, играет он по вечерам на свирели? Неужели старается только для той шавки, что свернулась калачиком у порога?

Дальше — больше. Днем вопрошают на перекрестках, по ночам подкарауливают в темных закоулочках. Всяко бывало. И оговаривали его, и предавали, и в карты проигрывали, и темной ночью в глухом месте накидывались. Били нещадно и, обвязав веревками, волокли к заготовленной петле, но бог не давал его в обиду.

Не сумев потопить в помоях, долина начинала им гордиться. Скажи, какой молодчина, скажи, какой смельчак! Вот взять соседские села наперечет, кто мог бы похвастаться таким богатырем?! Да никто. И, само собой разумеется, когда настал день и старая Бессарабия перешла из одного мира в другой, когда принялись лихорадочно искать, кто мог бы и статью, и речью, и всем видом своим достойно представить долину новым властям, пошли к нему на поклон.

— Как поживаешь, отец? — говорят, спросили красноезвездные танкисты, когда он вышел к ним с хлебом-солью. Оказалось, что пастыри — плохие политики. Вместо того чтобы завести длинную речь о печалях и невзгодах долины, потому что было в самом деле полно и печалей и невзгод, он по своему обыкновению обронил:

— Добре.

Эта краткость дорого ему обошлась. Через несколько дней, когда началась всеобщая перепись, первым делом поднялись к нему наверх, чтобы выяснить, чего он там такого нажил, что ему всегда и неизменно добре живется. Пастыря, конечно, не было дома. Полный двор овечьих орешков, открыты и ворота, и калитка, а его нет. Хорошая погода, самое время поднять отары в горы. Пришлось составить опись хозяйства со слов соседей, а что могут нарасказать соседи, когда нас дома нету, это известно всем и каждому.

Пошумели, правда, при дележке земли. Бедняков много, а освобожденных земель в обрез. Когда стали искать, кому можно и не давать, вспомнили о нем. Зачем пастырю пахотная земля? Да ему, кроме пастбищ, вообще ничего не надо! А когда дошли до зеленых лугов, оказа-



лось, что там и делить особо нечего. Рвали их друг у дружки по ключьям и в конце концов решили: обходился как-то пастырь до сих пор? Обойдется и дальше.

— Добре.

А между тем накатывала тяжелая пора поставок, налогов, займов. Бедная земля после четырех лет войны и запустения лежала серая, бездыханная, задавленная пылью. За все лето ни капли дождя. Небо из конца в конец, как бескрайняя белесая пустыня, и огромное раскаленное солнце с утра до вечера губило все на корню. Пожелтела поднявшаяся было до колен кукуруза, сгорели начавшие было колоситься хлеба, помутнела вода в колодцах, родники пообсохли. Огромные трещины, как ящерицы, бежали, раскалывая землю вкривь и вкось.

Особенно тяжко пришлось тем, кто правдами и неправдами сберег какую-никакую скотинку во дворе. Пасты негде, кормить нечем, а уполномоченные по госпоставкам дохнуть не дают: требуют мяса, молока, шерсти, шкур, потому что, мол, наступил тот самый последний срок, после которого уже карательные органы займутся твоими недоимками. А бедный человек, слушая все это, раздумывал про себя, чего бы такого кинуть в ясли, не то погибнет и та, последняя скотинка.

И гибла, особенно среди овец был большой падеж. Обстриженные наголо под самую зиму, выдоенные до капли, бедные овечки забирались туда, куда и коза не каждая вскарабкается, в надежде прокормить себя. Пастухи сбивались с ног. Хибара на вершине пустовала. Бывало, сумерки заполняют низину, медленно ползут по склону, вот уже и сам домик растаял в темени, а дымком все не тянет, в чугушке ничего не варится, и голоса свирели не слышать.

Соседи, должно, постарались записать за его двором тьму-тьмушую, потому что ужас охватывал при перечислении одних недоимок, которые числились за пастырем. Десятки мешков с шерстью, тонны брынзы, сотни шкур. Катастрофа была неминуемой. Ее можно было только отдалить, если бы хоть малость какую сдать, но ему сдавать было нечего. То, что у тебя нету овец, говорили ему, это дело десятое, а то, что ты государству задолжал, вот что главное! Сник и опечалился бедный пастырь. Прожить жизнь хоть и бедно, но без долгов, и вдруг такой огромный долг да перед таким государством!

Стали вызывать по ночам в сельсовет. Поначалу звали вечером, в общем потоке, но затем внесли в список злостных недоимщиков и уже вызывали вместе со злостными ближе к полуночи, а потом из того списка еще в особый перенесли и вызывали уже под утро. Неизменная доброжелательность пастыря и готовность к сотруничеству выводили власти из себя. На кой черт им это его вечное «добре», если оно не оборачивается чем-нибудь материальным так, чтобы можно было погрузить и отправить на вокзал?! В конце концов отправили в район его самого в сопровождении двух милиционеров, дабы он, чего доброго, не сбежал по дороге. В районе, как известно, за один день такие дела не

решаются. И вот в понедельник прошел он по склону холма в сопровождении двух милиционеров, и во вторник вели его так же, и в среду, и уже по долине прошестелo грозное и таинственное — «контра».

Что и говорить, при всей своей несурзности, долина не хотела ему зла, и тем не менее, когда настали трагические ночи и сельские активисты, собравшись вокруг керосинки, принялись составлять списки классовых врагов, в конце концов дошли и до него. Невозможно было его обойти, потому что, в самом деле, если человек при таких чудовищных задолженностях продолжает улыбаться, на все требования говорит «добре», а не сдает государству ни шиша, то что это, если не чистое предательство? Кое-кто, правда, попытался стать на его защиту, говоря, что, возможно, у него нету овечек, но были высмеяны, потому что, резонно им заметили, если нету овечек, откуда столько овечьих орешков во дворе?

Настал день, и одинокий житель Верховины стал собираться в дорогу. У пастыря интуиция — это суть профессии, хлеб насущный. Он, должно быть, знал, к чему идет дело, не зря родился и прожил жизнь с такой печалью в глазах. Во всяком случае, той ночью, когда за ним приехали, он не спал. Вышел с узелком. Сунул свирель за пояс, привязал верную собаку к дверной ручке, взял узелок, поклонился трем камням, белевшим в темноте, и сел в машину.

На станции из машины — прямо в вагон, и те битком набитые вагоны долгие недели стучали колесами день и ночь, все на восток да на восток, пока не остановились рано утром в каком-то перелеске. Когда их выгрузили, строгий начальник спросил, как доехали. Обычно, когда спрашивают о чем-нибудь толпу, все стараются тянуть как можно дольше с ответом, пока не найдется чужак, готовый пострадать за всех. То ли потому, что пауза между вопросом и ответом затянулась, то ли потому, что он был выше других ростом, пастырь счел, что обратились именно к нему, и, улыбнувшись, обронил обычное: «Добре».

Что ж, подумало про себя строгое начальство, если после такого потрясения да после такой дороги он все еще хорошо себя чувствует, самое что ни на есть время спустить его в шахту...

Тем временем долина ожила. Случились два-три урожайных года, и колхоз очухался. Люди отъелись, приоделись, затем, засучив рукава, застроили всю долину почти что заново. Началось повальное увлечение виноградарством. Что ни двор — то виноградник, а там, где своя ягода, там и бочки, там и погребок.

Жить бы да жить, если бы не та рублевая лихорадка. Вдруг оказалось, что можно легко выбраться в люди, и для этого нужно всего-то ничего — рубли. Но, однако, рубли тоже разные бывают. Честно заработанные, которые в долине назывались твердой валютой, были и шальные рубли... Шальные надо было все время куда-то перепрятывать, дабы

они, чего доброго, не подвели. Так все и шло. Компромисс оборачивался комбинацией, комбинация перерастала в махинацию, а от махинации недалеко и до аферы...

Болото греховности засасывало долину, и так всем хотелось омыться, что сгоряча построили даже новую баню, а толку чуть, потому что душу в бане не отмоешь. Душа очищается только от соприкосновения с другой чистой душой, а где ты ее найдешь, ту, другую, чистую душу, когда вон все вокруг окосели от вина да от пустословия... Жил, правда, когда-то на холме старый чудака, который своей свирелькой буквально творил чудеса, да и то сказать, когда это было...

После долгих лет молчания иные из сосланных стали подавать о себе вести, а о пастыре ни слуху ни духу. То ли угрызения совести не давали покоя, то ли по какой другой причине, но долина заговорила о нем. Достоверных сведений по-прежнему не было, а когда нету достоверных сведений, на их место спешат слухи. И слухи были самые невероятные. Говорилось, например, что обвалилась шахта, в которой он работал, и сколько их там было, все остались в завале. А то еще поговаривали, что пытался он убежать, да тайга сожрала. Было, наконец, подозрение, что женился он на китайночке и вместе подались в Японию.

В конце концов его стали забывать, но, когда подошли сроки возвращения из дальних мест, как-то под вечер появился и пастырь. Господи, что с ним случилось! За эти годы он не то что постарел, он рухнул как-то. Ходил медленно, принаравливая свой шаг к странному сипению, вынесенному им из тех сумрачных глубин. И голос, и глаза, и обычное его молчание — все было уже другое, и только светлая улыбка да привычка снимать шапку, прижав ее к сердцу в знак дружеского расположения, да полупоклон в сторону собеседника и то, ставшее уже знаменитым слово, из-за которого столько было выстрадано...

— Добре, — отвечал он по-прежнему, когда его спрашивали, как поживает.

Обрадовавшись встрече и отпраздновав его возвращение, долина жаждала подробностей, потому что народная память, народный опыт, народный здравый смысл — они только и существуют благодаря тому, что питаются страданиями отдельных судеб. Но — он был пастырем, а пастыри, как известно, молчуны. Такая у них странность. Такая у них слабость. Такой у них завет. Ну, хорошо, рассуждала сама с собой долина. Сегодня он не в духе, завтра компания попалась не та. Сегодня слишком напрямик спросили, завтра речь и вовсе была не о том. Но если он ничем не хочет поделиться, тогда на кой ляд вернулся? Родни никакой. Верный пес, провыв трое суток на Верховине, сорвал дверную ручку и понесся по миру искать хозяина. Ни дома, ни двора, ни даже тех трех камней, потому что после создания колхоза на том самом месте, где была его хибара, построили двухэтажное правление. Теперь там с утра до вечера трещат счетные машины, звонят телефоны. И, стало быть,

если не к чему возвращаться, если незачем возвращаться, если некуда возвращаться... Правда, водилась за ним еще одна страсть, которая могла бы как-то оправдать его возвращение, но если у тебя не было овечек, каким образом можно вернуться к отаре, которой у тебя не было?!

Вернулся. Выделили ему участок для застройки в долине, за мостом, место, в общем, неплохое, но ему там не понравилось. Воздуха мало. Глаза так и бегают в поисках хоть какой-нибудь возвышенности. Увы, холм, на котором он жил, был занят, а строиться по соседству нельзя, потому что у властей, как известно, соседей не бывает. Выделили участок на другом, пологом холме, потому что село, как и всякое другое уважающее себя селение, лежало в низине, меж двумя холмами. Правда, тот, второй холм был на отлете, чуть пришибленный, чуть придавленный, короче, холм второго сорта, но в конце концов, если его обжить, можно и там скоротать свой век.

— Только с одним условием, — предупредили его. — Деревня занимает первое место в районе по уходу за фасадами. Строй, что хочешь и как хочешь, но фасад должен быть безукоризненным. Мастеров полно, материалы, хоть и со скрипом, достать можно, так что давай обживай холм и помни — качество! А фасад не просто качество, а супер-прима-первый сорт!

— Добре.

Самое главное для пастыря — это покой духа, а покойным дух может быть только в собственном доме. Для отвода глаз нанял какого-то старого плотника, а в остальном сам смастерил себе домик. Красота красотой, ну, а по прочности он мог выстоять на любом склоне Карпат. Потом, когда появился забор, он тоже чем-то стал смахивать на загончик, и калитка очень уж напоминала струнгу...

Говорят, на него донесли. Написали куда следует, и снова его стали вызывать в сельсовет. Республика, сказали ему, стоит в первых рядах по механизации и автоматизации производства. Животноводство, и в особенности овцеводство, будет развиваться в строго ограниченных пределах. Что до индивидуальных овечек, то об этом ни-ни-ни...

— Добре.

Сказал и вышел. Молчаливым покинул свой край, молчаливым вернулся. Молчал среди своих, молчал среди чужих, умел хорошо помалкивать и на молдавском, отмалчивался неплохо и на русском языке. Но молчание в том говорливом краю, оно тоже на дороге не валяется. Его ценили. Им дорожили. Бывало, иной раз вечером какая-нибудь голова, измученная потоком пустых фраз, вдруг увидит одинокий домик на сплюсненной горке и умоляюще запоет:

Молодец с той Верховины,  
Ты бы к нам направил путь...

Он благодарно улыбался, но уже не спешил спускаться. Правда, любил вечерами, сидя на пороге своего домика, следить подолгу за долиной. Поучительного там было мало, интересного тем более, и все-таки после отары долина была самым потрясающим зрелищем из всего того, что ему доводилось увидеть. Иной раз, изведенный одиночеством, глядишь, мелькнет то на свадьбе, то на концерте каком-нибудь. Постоит-постоит, помолчит-помолчит, потом как бы про себя молвит слово, и вздрогнет долина — не слово, а чистое золото! Скинув с себя хмельную дремоту, люди обступят со всех сторон: может, еще что скажет, а тем временем старческие, выцветшие глаза пастыря уже гуляют по тем дальним, вечно голубым, вечно загадочным холмам...

— И опять пошел искать своих овец, — поражаюсь долина. — Уж через что он только не прошел, куда его только не забрасывало, но не дают ему покоя холмы, на которых пас когда-то свои отары!..

И в самом деле, какое-то загадочное влияние имели на него те дальние холмы. Что-то они ему нашептывали, во что-то посвящали. И вот опять во дворе появляются три здоровенных камня, расположенных таким образом, чтобы между ними можно было огонь развести. Конечно, холм уже был не тот, да и ветры, как нарочно, все время дули в другую сторону, и тем не менее вечерами нет-нет и потянет дымком над низиной.

Свирели, правда, не было, но долго ли, умеючи?.. Подобрал сучок, помудрил над ним, поскоблил тут и там ножиком, и в один прекрасный вечер, когда долину опять окутали сумерки, вместе с дымком вдруг полыхла над ней та древняя, та изначальная наша печаль.

Господи, как он был наивен! Попытка вернуться к старому образу жизни была пресечена в самом зародыше. Его дымок поднял по тревоге целую часть. Засушливое лето, пожароопасный режим. К тому же защита окружающей среды. Сколько можно дымить над деревней? Дымят заводы, машины, трактора, теперь и ты еще принялся дымить?!

— Добре, — сказал пастух и убрал со двора камни. Но оставалась свирель как искушение, как великая мука, и по вечерам, затопив в доме печку, оставив двери открытыми, он садился на порог таким образом, чтобы хоть изредка увидеть краешком глаза великое чудо живого огня, и, направив звуки в сторону долины, опять заводил речь об извечной, неизлечимой печали души человеческой...

Свирель его погубила, потому что нынешние соседи — это не наивные простачки минувших времен. Говорят, они записали на пленку все, что он наигрывал по вечерам, и пленки те были переправлены в Кишинев, в компьютерный центр, на дешифровку. Импортные машины мигом переложили те наигрыши и мелодии на язык тридцати трех букв. И когда все было дешифровано и напечатано в трех экземплярах, оказалось, что свирель безнадежно тоскует по тем далеким голубым холмам...

Стало быть, овечки у него-таки водились. По долине шли самые невероятные толки. Поговаривали, например, что многие привезли с собой оттуда, с востока, кое-какое золотишко. Пока чужаки за собой слежку, еле сводили концы с концами, а как только наблюдение поослабло, бегом в город. Зубные врачи и продавщицы овощных ларьков — самые что ни на есть верные покупатели. Набив карманы рубликами, пошел, должно, по ярмаркам. Там пару ярочек, там баранчика. Долго ли, если ты в этом понимаешь толк, если у тебя к этому лежит душа, если тебе, наконец, попросту везет в этом деле?

Долина следила за ним с тайной завистью, которая больше смахивала на гордость. Сколько они его хаяли, и травили, и на тот свет отправляли, а он стоит себе на своем — и точка. Он, изгой, играет на свирели, а они, прожившие жизнь в этой уютной долинке, прикипели душой к телевизору, и нету для них большей радости, чем цветной футбол. И песен своих уже не помнят, и петь их разучились. Скажи на милость, поражалась долина, сколько раз мы тут дурачили друг друга, полагая, что занимаемся высокой политикой, и то мы кинемся в одну крайность, то в другую, а он знай себе плетется за невидимым стадом своим.

Его спасала любовь. Он любил ежеминутно, ежечасно, он любил все и вся. Его глаза, его движения, его бесконечное молчание были наполнены какой-то неизъяснимой отеческой любовью. Он любил своих овечек, он любил эти холмы, эту низину, в нем было необыкновенно живуче чувство любви к малой родине. Говорили — все дело в корнях. Говорили — корни у него необыкновенно глубокие. Явление это само по себе примечательное, и были вызваны специалисты из центра. Глубокие корни, в которых заложена большая жизнестойкость, имеют в наш век стратегическое значение. Пока не поздно, нужно срочно создавать плантации по культивации и рекультивации глубоких корней, и как было бы здорово, если бы долина стала застрельщиком, всесоюзной базой...

По вечерам трактора, мотоциклы, «Жигули» всевозможных нумераций, возвращаясь домой, выгадывали таким образом, чтобы вехать в низину через покатый холмик, и нет-нет да и тормозили у одинокого домика. Пока мотор остывал, стояли у калитки, ждали. Он выходил с неизменной отеческой улыбкой и, прижав к сердцу старую шляпу, чуть наклонившись вперед к собеседнику, молчал в ожидании того, с чем к нему пожаловали. А те, пытаясь разговорить хозяина, топтались вокруг да около. Расспрашивали, например, в каких краях доводилось ему побывать, как там живут, сколько зарабатывают, на что тратят деньги. Допытывались, сколько дней ехал он обратно домой и что именно почувствовал, когда после стольких лет увидел из окна вагона утром ранним плывущие к нему навстречу те самые далекие голубые холмы, на которых паслись когда-то...

— Добре, — говорил он, улыбаясь, но ни в дом не приглашал, ни в долг не давал, ни в чайную не соглашался ехать.

Господствовал все-таки. Его влияние каким-то таинственным образом расходилось по всей долине, и ничего с этим нельзя было поделать. Менялись власти в селе, менялись поколения, но его авторитет оставался незыблемым. Это было неслыханно, это было невероятно. Полуграмотный, полуголодный, полуоправданный, он оказывал влияние на образованную, зажиточную, преисполненную чувством достоинства деревню...

А вот интересно было бы проследить: как именно осуществляется влияние пастыря на долину? Из чего складывается его авторитет? И с чего это зеленая молодежь зачистила на тот покатый холм? Неужели чистое фрондерство? И вот уже берутся на заметку те, что норовят чаще других пройти мимо его домика. Когда собирается достаточно народа, создают их на семинар, на слет, на пятиминутку. Начинают, как правило, с международного положения, а там переходят к тому, что вот, мол, и у нас начинают поднимать голову недобитый враг, те самые элементы, которые постоянно пышут злобой, ибо новые порядки навеки похоронили их чаяния, нажитое богатство...

О ком речь? Да вот взять хотя бы того астматика с покатою холма. Вы, может, знаете, а может, и не знаете, что дело его возвращено на исследование. Он сам вынужден вернуть дело на исследование, потому что не извлек должного урока. Пастырство по-прежнему не дает ему покоя. Чуть что, и уже рыщат на тех далеких голубых холмах, где некогда паслись...

Какие овечки, о чем вы говорите? Если хотите знать, его пастырство — комедия чистейшей воды, а его овцы — плод воображения. Да? А в таком случае чего погнали его на край света? Он пострадал по нелепой случайности, потому что, скажите, можно ли подоить воображаемую овцу, можно ли превратить ее молоко в брынзу? Вот на спор — приведите к нему настоящую овцу и увидите, сумеет ли он ее подоить. Хе-хе, не беспокойтесь, еще как выдоит! А молоко куда денет? Как куда? Выпьет. Отличное парное молоко. Это он пьет парное молоко? Да вы посмотрите, как он ходит, держась за заборы! Разве так ходят те, что пьют парное овечье молоко? А свирель тогда ему зачем? Свирельку он смастерил себе по настоянию врачей, чтобы дыхание тренировать. У него в легких завал угольной пыли, и врачи сказали, что, если не будет тренировать дыхание, капут, хана, конец.

Но вот утихла и свирель. Вечерами, хоть и сживал он на пороге своего домика, мир его печалей заглох. Долина встревожилась. Как только наступали сумерки, разговаривали вполголоса, все прислушиваясь к покатою холму. Что и говорить, омыть свою душу после долгого летнего дня, взлететь так, чтобы дух захватило, насмотреться, налюбоваться окружающим миром кому не хочется, но, увы...

Долина засуетилась. Охваченные христианским милосердием, поспешили на тот покатый холм кто с чем. Делились советами, несли ему травы, всевозможные лекарства, оставшиеся от лечения близких, нако-

нец, несли, кто что вкусенькое сготовит или выпечет. Он охотно принимал все. Ел, что ни дадут, лечился, чем ни скажут, и эта поразительная мешанина всего и вся как-то шла ему на пользу. Долина была счастлива.

Когда выдавался трудный год, засуха или сплошные дожди, долина почитала пастыря святым, ибо только святой мог пройти через все, оставаясь доброжелательным и к миру, и к своей судьбе. Дожив до сыгтых времен, когда можно было не волноваться за день завтрашний, долина считала пастыря простаком, тугодумом и неудачником, потому что, если прожить жизнь означало посадить дерево, вырастить сына и вырыть колодец, покажите, где его сын, где посаженное им дерево, где вырытый им колодец? Ну а когда выпадали по-настоящему урожайные годы, и хлеба было вдоволь, и бочки были полны, и удача была во всем, долина стояла на том, что пастырь — классовый враг и отщепенец.

А пастырь тем временем совсем сдал, и старухи долины, завидя его, горько качали головами — не жилец он на этом свете. Полное разрушение легких, шепотом говорили врачи, хотя, богатырь по природе, он и с такими легкими мог бы еще пару лет протянуть, если бы не та жуткая зима...

Холода прижали так, что из дому не высунешься, а топить нечем. По утрам собирались во двор сельсовета и ждали в очереди целый день машину с углем. Иной раз привезут, другой раз нет. Но даже в те дни, когда привозили, как-то так получалось, что, когда доходила до него очередь, уголь кончался. Другой на его месте понял бы, в чем дело, и не стал бы травить себя попусту, но ему это было не дано. Он неизлечимо верил в человеческую доброту, он не воспринимал мир вне этой доброты и, поднявшись чуть свет, снова спускался в долину, становился в очередь в надежде, что настанет день, когда и ему улыбнется удача.

И она ему улыбнулась. Он стоял возле весов с пустой сумкой, в машине было полно угля, но раздававшие, переглянувшись, сказали, что для него угля не будет. Угля и так в машине мало. Нужно думать о молодых, о школе, о больнице, а он, при своих тулупах, да шапках, да шерстяных всяких вещах, ничего, как-нибудь перезимует.

— Доб...

Холод вместе с обидой его доконали. К утру пастырь погрузился в сладкую дремоту, из которой ему уже не суждено было выбраться. Если бы не морозы, долина, конечно, постаралась бы достойно проводить его в последний путь, но куда там... Раздосадованные тем, что их повытаскивали из теплых домов, односельчане ворчали: вот, мол, чем кончилось его хваленое пастырство! Перекидав через плечо полдеревни, теперь он не смог дотянуть хотя бы до тепла, так, чтобы и его схоронили по-людски. Теперь, что же? Холод, метель, лопату в землю никак не заgonишь, а уж пока ты с покойником притащишься, выкопанная глина превращается в чистый бетон!



Так ли, иначе — схоронили. Еще год обсуждали, что бы такое поставить на могилке — крест или надгробие со звездой? Если крест, то кто его должен сделать, а если надгробие, то кто будет за него платить? Эти вопросы возникли по той простой причине, что, когда вынесли покойника, в доме осталась одна нищета да паутина. В конце концов решили — ладно, дело терпит, может, объявится какая-нибудь дальняя родня, заставим раскошелиться.

Время шло, родня не объявлялась, могилка пастыря сначала осела, почти сравнявшись с землей, затем покрылась тем сухим колючим сором, которого полно в дальних уголках сельских кладбищ. Но вот неожиданно районные власти обратили внимание на те колючки. Что это такое? — спросили они долину. Вопрос был коварен и таил в себе немалую опасность, потому что долина по-прежнему занимала первое место по району фасадами своих домов. Потерять первенство? Такое не всякий переживет, тем более что долина славилась еще и на редкость ухоженным кладбищем. Всюду железные оградки, дорожки, посыпанные песочком, цветы.

Каждый год в начале мая, в День Победы, собирались, как правило, на кладбище, помянуть своих близких. Приносили кто что сможет. Сядут, бывало, возле могилки, нальют вино в стаканы, помянут своих добрым словом, сольют немного из стакана на могилку за помин их душ. Вдохнут... И, чередуя разумно стакан со слезой, слезу с воспоминанием, люди прикоснутся к давно минувшим временам, которые есть не что иное, как часть нас самих, ибо настанет срок, когда и мы превратимся в воспоминание...

Район, однако, стоял на своем. Судьба первого места висела на волоске, и местные власти установили срок. Если к тому сроку заброшенные могилки не будут приведены в порядок, они подлежат ликвидации. Срок прошел, ни одна рука к тем могилкам не прикоснулась, и был назначен еще один срок. Потом третий. И еще около года так, без срока, лежали в запустении те могилки, после чего трактор въехал на территорию кладбища и, как говорится, сравнял их с землей. Собственно, на этом можно было и закончить, хотя минуточку, минуточку, минуточку...

Уже после того, как ликвидировали его могилу, пастырь умудрился еще раз пробиться в жизнь долины. Прошла еще одна зима, наступил май, и собралась деревня на кладбище помянуть своих близких. Все ежились от холода, потому что весна была запоздалая, хмурая, неприветливая. Уже и майские праздники миновали, а земля все еще не просохла, талая вода не сошла. Кладбище — одно сырое месиво. То есть по дорожкам еще можно пройти, но так, чтобы присесть, и налить стаканчик, и сказать слово — ни боже мой...

И тут кто-то заметил в дальнем углу кладбища удивительно сочный, зеленый коврик. Были так подобраны травинка к травинке, что одно загляденье.

— Кажись, на том месте...

Да, это было то самое место, на котором схоронили пастыря. Вся его могила была обшита травкой, причем не местной, степной, а высокогорной, на редкость густой, красивой, живучей. Потрясенная долина шепотом спрашивала: кто, откуда, каким образом?!

И ничего удивительного, отвечали им знатоки земных глубин. Должно быть, у него водились семена. Носил в карманах, в складках одежды своих; носил их в душе, в сердце своем, и, попав в сырую землю, они проросли. Они не могли не пробиться, потому что, коль скоро ты был пастырем, и у тебя водились овечки...

## САМАРИТЯНКА

*...Как ты, будучи Иудей, просишь пить  
у меня, Самарянки?*

*Иоанн 4/9*

Осенью сорок пятого получена была директива приступить к ликвидации монастырей. На юге Молдавии решили начать с мужских, на севере предпочли женские. Вернее, остановились на Трезворах. С самого раннего утра мешки с мукой, индейки, бочонки, кошелки, подушки, цветастые домотканые дорожки — все это было поднято на разные уровни, все это расходилось в разные стороны, но на одинаково высоких скоростях.

Быстрота и продуманность свершаемого беззакония парализовали всех. А когда наступил час раздевания храмов и сжигания священных книг, когда начали выгонять скот и вывозить недвижимость, когда бойкая дружина, охмелевшая не столько от выпитого вина, сколько от сладкого хмеля разрушения, гонялась по всему двору за молодыми монашками, предлагая руку и сердце, когда обезумевшие от ужаса старые девы крестили друг друга, прощаясь меж собой, потому что увозили их партиями на разных машинах в разные стороны, к игуменье монастыря, тихой, больной старушке, доведенной в тот день до полного иступления, сквозь весь этот шум и гам пробралась молоденькая девушка лет семнадцати из соседней деревни и тихо сообщила, что накануне ей приснился ангел.

Слово «ангел» подействовало на игуменью отрезвляюще. Она все время находилась в ожидании знамения небес, каких-то посланий свыше. Придя в себя, утихомирив, насколько это было возможно, скорбь своих дочерей, отыскала какой-то закуточек, пригодный для беседы вдвоем.

— Ну, и что он тебе такого поведал, девочка?

— Сказал: оставь родительский дом и иди в монашки.

— И только-то! Твой ангел небось думает, что все это можно свершить за один день, даже за одно утро!

— А почему нельзя?

— Душечка, для того чтобы постричься в монашки, надо по крайней мере несколько лет пробыть в послушании...

— Ну, возьмите хоть послушницей.

— Да куда мы тебя возьмем, когда вон нас самих увозят!

— Что же мне делать?

— Помолись Пречистой, поблагодари за светлый сон и забудь об этом. Ты молода, красива, теперь вон парни ваши начинают возвращаться с войны. Выходи замуж, рожай детей и забудь о нашем горе.

— Нет, — сказала девушка. — Мне ангел поручил прийти к вам и прожить жизнь при монастырских родниках, подобно той доброй сарматянке, у которой спаситель некогда попросил пить...

— Ну, — сказала игуменья в раздумье, — родники, вон они, в ущелье. Если будет время и охота, можешь за ними и присматривать...

— Но чтобы мне это хорошо исполнить, надо, чтобы меня кто-нибудь туда поставил. Накажите строго-настрого, что мне тут исполнить, и подарите камилавку, так, чтобы я, подобно другим монашкам, носила ее на голове. Не беспокойтесь, я буду ее носить с достоинством и не опорочу имя нашей славной обители.

— Господи, — сказала игуменья, — дался тебе этот чепчик! Да из-за него тебя, чего доброго, сунут в какую-нибудь машину и увезут вместе с нами.

— Не увезут. У меня два брата были на войне. Один погиб, другой вернулся. Подарите мне, пожалуйста, камилавку.

— Да ты к тому ж честолюбива, дочь моя!

— Я забочусь не столько о себе, сколько о вас. Оставляя меня тут в камилавке, вы сможете уехать со спокойной совестью, зная, что не бросили монастырь на произвол судьбы, что тут остался свой человек, который в случае чего всегда сможет и присмотреть, и поберечь...

— Да что беречь, дочь моя, за чем присматривать?!

— А эти два храма? А кладбище, на котором много достойных людей похоронено? Опять же три родника.

— Да что ты все носишься с родниками!

— Ну, как же... Дело ведь не только в том, что обитель наша переняла от них свое имя, она вообще своим существованием обязана тем родникам. И, не желая вас никак обидеть, я по простоте своей полагаю, что и после вашего отъезда вода в тех родниках будет такая же прохладная, целительная, святая...

Говорят, на этих словах игуменья обняла ее, поцеловала, сняла с головы собственную камилавочку, надела девушке, своими руками повязала тесемки под подбородочек. Этим она как-то совершенно пришла в себя. Воспрянув духом, нашла предводителя гулявшей по монастырю ватаги и заявила, что они с сестрами не покинут монастырь, если им не

будет позволено еще раз собраться в главном храме, с тем чтобы проститься с алтарем и колоколами. Говорят, на тот последний монашеский молебен была допущена и та семнадцатилетняя девушка, причем, говорят, игуменья держала ее все время подле себя.

Но, конечно, легенды отличаются тем, что одни в них верят, другие нет. Тем более что со временем говоруны, претендующие на исключительную осведомленность, стали утверждать, что все это выдумки богомольных старушек. При ликвидации монастыря та девушка, говорили они, прибежала вместе с другими в надежде на красивый коврик, но, добравшись слишком поздно, когда все уже было расхвачано, нашла в какой-то келье валявшуюся старую камилавку, стряхнула с нее пыль, надела на голову и уже после этого стала рассказывать о якобы приснившемся ей ангеле. С игуменей она не могла встретиться по той простой причине, что старушка, будучи на пределе умопомешательства, извергала из себя такие проклятия, что ее увезли первой, на рассвете, еще до начала ликвидации.

Умолкли колокола, остыли горячие головы, улеглась пыль на дорогах, ведущих к монастырю. И, стало быть, прощай Трезворы? Хотя, отчего же? Монашек увезли, имущество разграбили, но монастырь как стоял, так и стоит. Прочный, седой, изыщенный, уютно примостившийся в ущелье, на небольшом плато, в окружении заросших дубом и кустарником холмов. Между прочим, давно замечено, что монахам было в высшей степени присуще чувство возвышающей красоты природы, и места, которые они выбирали для своих храмов,— это как раз те самые уголки, на которых, как говорится, и лежит печать божьей благодати.

С какой бы стороны ни подъехать, издали Трезворский монастырь казался чудом, выплывшим из земных глубин, которое эти кручи понесли на ладонях, чтобы подарить небесам. Высокая, всегда свежeweыбеленная каменная ограда составляла вместе с покрашенными в зеленый цвет двумя семействами куполов главную достопримечательность этой обители. Внутри монастыря, кроме двух упомянутых храмов, еще несколько больших домов, хозяйственные службы и длинный ряд похожих на соты пчелиного улья монашеских келий.

Все это день и ночь окутано легким, приятным для слуха шепотом переговаривающихся под каменным массивом родников, на котором воздвигнут монастырь. Собственно, с целительных вод тех родников все и началось. Согласно преданию, после тяжелого поражения своей армии ночной порой добрался до тех родников раненный в ногу наш государь Штефан Великий. С той ночи и началась слава этих родников, и долгие века они путешествовали вместе по устным преданиям, по летописям, по школьным учебникам — Штефан, родники и Трезворский монастырь...

А вот интересно, что бы ты разместил, дорогой читатель, в таком вот вдруг опустевшем уголке? Школу? Больницу? Лесничество? Ну, не знаю. Может, в ваших краях это и прошло бы, но в Молдавии рассудили иначе. А загоним-ка мы туда, сказали наши светлые головы, машинно-тракторную станцию. Конечно, возникли проблемы. Например, как закинуть на верхотуру гусеничную фалангу, если по ущелью, что ведет к монастырю, не всякая телега проедет. Затем, как разместить на таком малом пространстве парк машин, мастерские, учреждения? Наконец, когда настанет время выйти в поле, как спустить оттуда эти тысячи тонн металла и как их потом загнать обратно? Проблемы, как видите, непростые, но на то мы тут народом и поставлены...

Пролезли. Вскрабкались. Втиснулись. Главное, чтобы как можно больше гула, дыма, рева, так, чтобы во все четыре стороны света разошлась молва о наступлении нового века...

Что и говорить, микроб разрушительной стихии живет в каждом, дожидаясь своего часа. И ничего удивительного в том, что молоденькие ребята, набранные в соседних селах на курсы трактористов, спешили изо всех сил утверждать себя на фоне образовавшейся пустоты. Пытались даже заложить основы нового фольклора, основанного на якобы известных только им одним подробностях интимной жизни монашек. Распаленное воображение довело юнцов до того, что вечерами, расходясь по своим селам, не забывали вытереть испачканные мазутом руки о белые стены ограды, попутно изображая при этом одно из тех выражений или рисунков, которые никогда не украшали человеческого род.

К величайшему удивлению будущих механизаторов, наиболее остроумные надписи исчезали, не достигнув и сотой доли той популярности, на которую были вправе претендовать. И вот ведь пакость какая: чем остроумнее, чем сочнее была надпись, тем решительнее ее убирали. Дело дошло до того, что главный заводила вынужден была караулить по ночам и настиг-таки своего цензора. Похожая на привидение, с ведром разведенной извести, со съехавшей набок камилавкой от чрезмерного усердия, она рубила на корню весь блеск заборного остроумия.

— Ты чего это надумала, дура ты этакая!!

А между прочим, этот пакун оказался славным парнем. Видя, как он ее напугал, чувствуя себя виноватым, проводил девушку до деревни, добровольно вызвавшись нести ведро с известью. Дома у девушки посидели под старым каштаном, и после некоторого раздумья парень попросил воды. Была когда-то такая мода в молдавских деревнях: у девушки, которая ему приглянулась, парень просил попить. Мастерича ночных побелок сбегала к колодцу и принесла свежей воды. Выпив две кружки кряду, парень выразил желание узнать из ее уст первопричину ее странного поведения и не уступил, пока ему не поведали тайну о приснившемся ангеле.

— Гм!

Неделю спустя он пришел как-то под вечер и заявил, что если она дала уже обет и не может без монастыря, то теперь самое разумное — выйти за него замуж. В конце концов ему все равно, на ком жениться, а если это так, почему бы не жениться на ней? Зато после свадьбы она сможет в любое время приходить в Трезворы к своему мужу, находиться там сколько угодно и заниматься, чем найдет нужным.

— А поселиться там мы смогли бы?

— Как — поселиться?

— Ну, поставить себе домик где-нибудь в уголке.

— А почему бы и нет!

Свадьбы справлять не стали, потому что уже наступал голод. Обвенчались за пятнадцать верст в маленькой церквушке, в которой еще жили. Тут же при помощи родни с той и другой стороны слепили домик в уголке, за главным храмом. А перед Рождеством вместе с первыми снежинками по всему северу Молдавии стали поговаривать, что хоть Трезворский монастырь и ликвидирован, хоть и отдали его под МТС, каким-то чудом одна монашка там все-таки уцелела. Временами ее можно увидеть в белой камилавке, спящую по хозяйству, а вечерами, как в доброе старое время, спускается к родникам, и до того славна и разумна и удивительна ее речь, ну, прямо как вода в тех родниках...

---

Между тем МТС набирала обороты. С утра до вечера вой моторов и грохот железа. Сметливые ребята хватали все на лету. Быстро научились собирать и разбирать моторы. Умели запустить, прочистить, отрегулировать. Догадались, откуда взять ту самую деталь, без которой не заведешь, и единственное, что им никак не удавалось, — это фасолева похлебка.

Дело в том, что в засушливом сорок пятом параллельно с ликвидацией монастырей по молдавским селам гулял смерч государственных поставок. Вывезли все под метелку, и как наступили холода, так наступил и голод. Дни и ночи опустевшие села дремали в каком-то странном, предсмертном оцепенении, но МТС была организация нового века, она не имела права на оцепенение, она должна была жить, и только полнокровной жизнью. Получаемые восемьсот граммов хлеба трактористы, конечно, отдавали своим семьям, а на пустом желудке при моторах много не наработаешь. Решено было организовать разовое теплое питание. Каждый день из района привозили по три килограмма фасоли, из которых надлежало сварить суп.

С первого же мгновения привезенная фасоль начинала странно себя вести. Она сокращалась в массе своей, ускользала, уплывала, ее одолевала страсть к таинственному исчезновению, и когда наступал час разлива по тарелкам — ну, совсем пустая вода. Ни фасолинки, ни фасолевой жижи, ну ни даже слабого духа того, что принято называть фасолью.

— Хоть бы одну монашку оставили, — огрызались отошавшие вко-

нец механизаторы. — Спросите у стариков, какие тут потрясающие фасолевые супы варились!

— Дак, ходит же там у вас какая-то молодка в белом чепчике...

— А можно ее к нам, в коллектив?

— Почему нельзя?

И наступили славные деньки, когда к двум часам надо всем Трезворским монастырем царил запах густого фасолевого отвара. Причем, сокрушались трактористы, она, знаешь, дуреха такая, ничего в карман не прячет, а за стол садится последней. Если что останется — хорошо, ну, а нет — так тому и быть. Мало того, кто-то ей втемяшил в голову, что на монастырском подворье полагается кормить не по списку, а всех голодных. Так ведь сколько тут голодного народа шныряет каждый день!

Трактористы принялись ей втолковывать, что МТС есть по характеру своему организация безбожников, на что она пригрозила, что уйдет с кухни за такие речи. Сошлись на золотой середине, в том смысле, что чужих она может подкармливать только за счет остатков. Но в то голодное время до остатков дело не доходило, и вот как-то хмурым весенним днем, подобрав под монастырскими стенами умирающего старика, притавившегося в МТС бог знает из каких далей, бог знает по каким делам, она усадила его первым за большой стол, наказав сидеть и ждать. Получив заветную тарелку, старик, закрыв глаза, долго вдыхал в себя запах сваренной фасоли, потом, когда суп остыл, медленно поел. Вышел из-за стола, перекрестился, глядя в пустой угол трапезы, и сказал неожиданно зычным голосом:

— Спасибо, Майка. Низко тебе кланяюсь и целую руки твои.

Дело в том, что «майками» по-молдавски величают общепризнанных, заслуженных монашек, и после этого старика по всему северу Молдавии стали распространяться слухи, что хоть Трезворский монастырь и ликвидирован, и храмы его раздеты, и никто там не служит, все-таки одна монашка уцелела. И дело не в том, что временами ее можно увидеть в камилавке, снующей по хозяйству. В трудную минуту жизни, говорят, наша обитель может по-прежнему и принять, и накормить, а перед обратной дорогой, как это было некогда принято в монастыре, монашка проводит. Спустившись в ущелье, к родникам, и посидит с тобой, и утешит, и обнадежит, чем сможет...

Тем временем в таинственных глубинах управления возникла мысль, что МТС изжили себя. Самое разумное — отдать технику колхозам. И вот после мучительно долгого, тяжелого нашествия моторов внутреннего сгорания в один прекрасный день Трезворский монастырь утомился, опустел, утих. Два года на разных уровнях и с разной интенсивностью шли споры о том, что дальше делать с этим хозяйством. А пока верхи судили да рядили, в опустевшем монастыре родилось двое малышей. Очастливленная семья хлопотала с утра до вечера, возвращая

к жизни то, что еще можно было вернуть, так, чтобы и сад, и виноградник, и храм походили бы хоть немного на то, что в мире принято называть садом, виноградником, храмом.

А вот интересно, что бы ты разместил, дорогой читатель, в таком вот пустъ и опустевшем, пустъ и сильно пострадавшем, но все еще уютном, обжитом веками и поколениями монастыре? Музей народных ремесел? Научно-исследовательский институт? Туберкулезный санаторий? Не знаю, может, у вас все это и могло бы состояться, что до Молдавии, то тут какой бы ни был посев, никогда не знаешь, что взойдет.

Как-то на рассвете ущелье, ведущее от реки к монастырю, наполнилось устрашающим ревом усталого, измученного стада. Ну что за глупый пастух, подумала Майка, выскочив со сна за ворота; загнать стадо в такое маленькое ущелье! Неужто он другого водопоя не смог найти? А пастух между тем гнал своих коровок все выше и выше, и вот он уже требует открыть им ворота. И поскольку Майка отказалась открывать, он сам их выломал, и крупнорогатый скот заполнил весь двор.

После долгих дискуссий Трезворский монастырь было решено передать конторе по заготовке скота, кратко — Заготскот. Дело было в том, что сдаваемый после голода на мясо скот не подходил ни под какие категории. Его нужно было хоть немного подкормить, прежде чем отправить на бойню, и вот кому-то показалось, что Трезворы — отличная откормочная база. Конечно, возникли проблемы. На чем везти? Некоторых коровок сдавали за сто с лишним верст отсюда. Ну и что? Пусть топают. Во-вторых, чем кормить? Ближайшая железнодорожная станция в двадцати километрах, а тут, на этих кручах, ни сена, ни другого фуража. Ну и что? Будем возить. Вот так-то вот. На то народ нас тут и поставил, чтобы с ходу решать проблемы.

Нет-нет, она не плакала, не рыдала, не билась головой о каменную ограду монастыря. Главнейший обет монахини — покорно, безропотно нести свой крест, и вот бывшая кухарка стала скотником, а ее муж с расвета дотемна дробил солому, чистил, вывозил навоз и поднимал снизу в бочках воду для скота. Три с лишним года тяжелый смрад хлева царил над древнейшей нашей обителью. Воровали зерно, составляли липовые акты о якобы сорвавшихся с круч телятах и долго варили мясо в котлах, а потом следовали нескончаемые пьяные драки заготовителей. От сырости стала плесневеть роспись в храмах, осели некоторые постройки от размыва фундамента. Бесконечные перегоны по ущелью техники, скота привели к смещению почвенных слоев, один из родников ушел вглубь, исчез, и кто знает, чем бы дело кончилось, если бы в один прекрасный день...

Хотя нет, этот день не был прекрасным ни для Молдавии, ни для Узбекистана, ни для всей страны в целом, но история любит иной раз по-своему располагать события, обуславливая их одно другим, и не нам,



свидетельствующим о своем времени, вмешиваться в уже сотворенный порядок вещей. Короче говоря, знаменитый французский писатель, избалованный судьбой и славой, приехав в Москву, пожелал посетить Ташкент накануне того страшного землетрясения.

После катастрофы, конечно, маршрут нужно было срочно менять, и тогда кому-то пришла в голову идея заманить французскую чету на несколько дней в Молдавию. Тем более что сам Кишинев давно рвался в особо гостеприимные города. Прием ожидался блистательный, на самом высоком уровне, но в самолете знаменитому писателю попался на глаза буклет, заготовленный для иностранных туристов, едущих на юг, и так как у нас часто концы с концами не сходятся, на обложке этого буклета был изображен красивый изгиб Днестра в вечернюю пору, а там, в глубине, в лучах заходящего солнца, красовались белые стены Трезворской обители с двумя семействами храмовых куполов. Чем-то эта вечерняя картинка на заднем плане обворожила чету с берегов Сены.

— Ты хотела бы туда?

— Oui!

Куль, которым французы окружили своих жен, известен во всем мире. Давши слово женщине, француз становится невенчанием. Господи, что творилось в Кишиневе! Какие только силы не были привлечены! Какая только тактика не применялась! Попытались даже после хорошего обеда с отличным вином сунуть их в другое место, но француз, оказывается, прошел войну штабным офицером, у него был отличный топографический нюх. Еще двое суток гости не покидали люксовый номер в гостинице, угрожая прервать визит, и вот надо же, надо же...

Иной раз так подумаешь, а ведь мы и в самом деле можем творить чудеса! Брошенный властями клич спасти свою обитель был подхвачен всеми районами севера. Побросав работу в поле, люди шли спасать свидетеля и творца своей истории. Чистили, мыли, сажали, проветривали, белили, красили, и на третий день, когда подъезжала машина с высокими гостями, Трезворский монастырь — одно загляденье. Внизу тихо журчат родники, наверху покой и печаль о несовершенстве богом созданного мира, а у железных ворот, починенных и заново выкрашенных, как это и полагается в уважающих себя странах, сторож в мундире гостиничного швейцара с позолоченными галунами на плечах...

Отъелись. Приоделись. Обстроились. И настал мучительный вопрос, следующий по пятам любого, хоть самого относительного благополучия: что делать дальше? Чего ради строили, копили, наживали? Другими словами, для чего живет человек? Что есть жизнь? Долгие века церковь учила, что жизнь есть любовь. Агрессивное начало в человеке способно все разрушить, и только любовь способна созидать. Она есть та среда, та единственная нива, на которой может взойти, и окрепнуть,

и обрести себя дух человеческий в нелегком пути постижения вечного и божественного...

Спорно, что и говорить, однако на этом простоял мир две тысячи лет и ничего, не развалился. Позакрывав храмы и монастыри, новый век заявил, что жизнь есть непрекращающаяся классовая борьба и потому всякие разговоры о душе есть пустая болтовня. Духа нет, есть только плоть, и, стало быть, жизнь есть суть: выпить, закусить, обнять, поцеловать, переспать и бросить.

Слухи о том, что конечной целью марксистского учения является гармоническое развитие человеческой личности, доходили, конечно, и до Молдавии. С этим никто не спорил. Даже как будто готовились предпринять какие-то реальные шаги в этом направлении, но что делать, если в этой маленькой республике на дух не переносят любое проявление личности. Сатанеют при одном упоминании об этом таинственном явлении и спешат уничтожить на корню, в зародыше, в генах. Проведая эту операцию, кишиневцы заявляют, что готовы выделить любую сумму, приложить любые усилия, сделать все от них зависящее для самого что ни на есть гармонического... А чего, собственно, развивать?

Освобожденный французским гуманистом, Трезворский монастырь опять попал в полосу неопределенности. О его судьбе спорили на разных уровнях, но, помня, какую он им свинью подкинул, решились, дабы обезопасить себя на будущее, внести его в список наиболее ценных исторических памятников. Даже доску повесили в том смысле, что охраняется государством, и вот из-за той доски возникли большие трения. Районные власти, полагая, что государство — это они, были шокированы тем, что столица берет под защиту то, что под защиту еще не было взято районными властями. Пока ставили на место зарвавшихся районщиков, трудолюбивая семья приволокла откуда-то забытую строителями бочку с зеленой краской, и, повязавшись веревками, наперекор этому ремеслу, вопреки всем правилам безопасности покрасили заново купольные семейства обоих храмов. После того как и внешняя сторона каменной ограды была побелена, молдавские фотографы получили возможность сделать несколько отличных снимков, один из которых, к ужасу местного начальства, оказался на страницах журнала «Советский Союз».

А вот интересно, что бы ты разместил, дорогой читатель, в такую вот старенькую, но кое-как отремонтированную и еще неплохо сохранившуюся обитель? Пионерский лагерь? Институт охраны природы? Дом отдыха колхозника? Не знаю, может, в ваших краях именно так бы и поступили, но в Молдавии возникла другая острая проблема.

На каких-то перепутьях нашего исторического развития вдруг выяснилось, что молдаване подводят, они никудашные собутыльники. Они не выдерживают темпа за единым столом всеозного братского загула.

Пагубная привычка иметь во дворе свой виноградник, тяжелый труд с утра до ночи, нерегулярное питание — все это дало себя знать. Народ в массе своей стал слишком быстро, непростительно быстро стал хмелеть. Не успел пригубить рюмку, принюхаться к ней толком не успел, а уже идет качаясь. Конечно, когда все это происходит в домашней обстановке, в интимном кругу, среди своих, куда ни шло. Ну, а если все это на людях да еще при гостях?

Гости в Молдавию прибывали с утра до вечера — поездами, самолетами, на машинах, со всех концов Союза. Республике поручили провести эксперимент по сверхконцентрации и сверхмеханизации. Приезжали высокие ответственные работники, приезжали даже гости из братских стран, и вдруг эта самая сверхконцентрация, эта самая сверхмеханизация идет, как говорят молдаване, по двум тропинкам одновременно. Чтобы не мозолили глаза, этих выпивох нужно было срочно куда-то упрятать. Конечно, были бы у нас острова, были бы у нас глубокие дремучие леса, проблем бы не было, но, не имея всего этого, пришлось упрятать их за высокими стенами Трезворского монастыря.

Бывшая кухарка МТС, бывшая скотница Заготконторы стала теперь санитаркой наркологической больницы. Принципы и методы лечения в подобных больницах давно известны. Рвотное, размешанное в рюмке с водкой, да отеческие увещевания. От нотаций мужики научились быстро отключаться, что до остального... Боже, вот где Содом и Гоморра! Больше всего в них страдало чувство оскорбленного достоинства, невыносимо горько было видеть со стороны степень своего падения...

Они стеснялись своей санитарки и умоляли не приходить. Сиди дома, займись пряжей, дорожками, чем хочешь, но не приходи. Мы тут сами за тебя уберем, сами все сделаем. Она тихо улыбалась им из какого-то далекого, далекого мира, словно и не видя, и не слыша, о чем они толкуют, и, глянь, она опять тут. Они ее ругали, они ее проклинали... Не ей, молодой еще женщине, воспитывающей двух сыновей, смотреть на весь этот срам падения человеческого, не ей за ними убирать! Родные вон и те отказались от них, родные вон и те видеть их больше не могут! А она снова улыбнется им из немыслимого далека и, глядишь, снова приходит. И кормила, и убирала, и стирала, покорно отводя глаза от того, что уже действительно...

А лунными ночами, когда благодатная жизнь всего нашего края достигает своего зенита, когда отовсюду несет достатком, удастью, бродящим молодым вином, когда за холмами что ни ночь справляют свадьбу, трезворские затворники, измученные тоской и одиночеством, лежа в главном храме по два человека на одной койке, глядели остекленевшими глазами на улетающего херувима под главным куполом и терпеливо дожидались своей кончины. Жизнь больше не имела смысла. С какой стороны ни прикинь — все уже поздно, бесполезно, а ее, той смерти, нет и нет...

превратиться в залы для демонстрации искусства хорового пения с частыми переодеваниями священников в золоченые ризы времен византийских императоров?!

А между тем годы идут, силы тают. Каждую весну часть ребят, окончивших школу, разъезжаются, новенькие поступают. А задумался ли ты, дорогой читатель, куда уезжает выпускник школы умышленно отсталых? Конечно, к себе домой, в деревню. А знаешь ли ты, что у этих бедных ребят век короткий? Тридцать, тридцать пять, дольше они не живут. Вернувшись, они включаются в трудовую жизнь, но, будучи, по существу, инвалидами, они совершенно не в состоянии выдержать все невзгоды и испытания наравне со здоровыми. Чуть выпьют и уже теряют контроль над собой, совершают преступления, большая их часть оказывается в местах заключения.

Те, которым, отсидев срок, удастся оттуда выбраться, не знают, куда себя деть. Часто при возвращении они вдруг проедут мимо родной деревни, мимо родного дома и снова стучатся в ворота Трезворской обители. Приезжают с тем, чтобы пожаловаться на свою судьбу, приезжают, чтобы их накормили, обстирали, утешили, и, если суждено будет, завершить свой век возле той, которая тебя воистину любила и понимала.

Низко кланяюсь тебе, Майка, и целую святые руки твои.

1988.

## ЗЕМЛЯ, ВОДА И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

### 1

Начнем, само собой, с земли. Все-таки за свою долгую историю у человека не было более верного союзника, и защитника, и друга, чем его земля. Чувство сыновней преданности к матушке-земле стало передаваться генетически, из поколения в поколение. И уж какими только словами наши предки ее не величали! Она для них и вечная, и святая, и родная, и кормилица. Сколько трудов и надежд в каждой борозде, в каждом колосочке, сколько народу полегло, чтобы защитить эти края, сколько комочков было взято, чтобы согреть душу там, на чужбине!..

На земле, на ее смысле и красоте воспитывается наше потомство, формируются его вкусы, его идеалы. Земля, несомненно, оставила свой отпечаток и на характере народа, который ее обжил. Широта Волги, суровость кавказских гор, бескрайность украинских степей, густая зелень Прибалтики и мягкие холмы Молдавии — все это можно легко обнару-

жить в фольклоре, в строе речи, в самом миропонимании народов, населяющих эти края.

Молдаване, то ли в силу своей чрезвычайной эмоциональности, то ли по каким другим причинам, довели любовь к родному краю до апогея. Само знамение жизнедеятельности природы, «фрунзе верде», то есть лист зеленый, стало рефреном почти всех наших народных песен. Кроме того, словом «фрунзе» обозначаются целые созвездия понятий, состояния материальных и нематериальных вещей, села, родственные ветви, и каждый раз, когда в Московском метро слышу голос дикторши, объявляющей: «Следующая станция — «Фрунзенская», — предо мной мелькают счастливые лица молдаван, увидевших после долгих зимних холодов зеленые листочки — первые признаки весны.

Но не будем особо распространяться о своей малой родине, тем более что любовь — это одно из самых интимных проявлений человеческого духа. Отметим только, что малая родина — это не только вечный спутник нашей жизни. Она — опора нашего духа, смысл наших трудов, главный вершитель наших судеб.

Покинув свою малую родину почти что в двадцатилетнем возрасте, успев на той земле и потрудиться, и настрадаться, и встать на ноги, я оставил там свои любимые, заветные тропинки, которые время от времени навещаю. У каждого из нас есть заветные уголки в родных краях. Речки и речушки, заречья, овраги, перелески, поляны, калитки, одинокие деревья, ничем для чужого глаза не примечательные уголки и переулочки. Там, в тех тайниках, должно быть, хранит душа свои неприкосновенные запасы, там наша совесть и наша честь, и потому, должно быть, трепещем каждый раз, когда оттуда долетает весточка...

Однако, как сказал один из великих, в этой жизни все узнаешь. Меняемся мы, меняются и наши заветные уголки. Драматизм и сложность современного мира проникают даже в самые скрытые и интимные стороны нашего бытия. Было время, когда мои любимые уголки не хотели меня больше знать. Было время, когда, как говорится, и мои бы глаза на них не глядели. Потом, как это водится, помирились, и опять все пошло как будто по-старому, но, однако... С некоторых пор какая-то беда стала витать над этими милыми моему сердцу краями. Хоть и ухоженные до невозможности, и рекордсменки по урожайности, и украшены наградами, какая-то обреченность витала над ними...

Странная это вещь — интуиция. Иногда, в самые светлые праздники, в самые счастливые минуты жизни, она вдруг шепнет словечко, от которого весь содрогнешься. Отмахнуться от этого шепота невозможно. Более того, мы обязаны считаться с ним в первую очередь, ибо интуиция — главный и единственный наш инструмент, без которого художественная работа теряет всякий смысл.

Хотя, чу! Тихо открывается огромная дверь. Входит женщина с камилавкой на макушке и с двумя бидонами свежей родниковой воды. То, что она в эту удивительную ночь не ушла за холмы, к тем, кто праздновал и веселился, как будто указывало на то, что бог все-таки существует. А если это так, то нужно хотя бы пригубить прохладный бидон. А может, влага тех родников и в самом деле целебная? Может, в самом деле святая? Во всяком случае, несколько глотков воды и неторопливая, полная доброжелательности речь, какой теперь в деревнях уже и не услышишь, неизъяснимое чувство такта, подсказывающее, возле какой кровати еще нужно постоять, а от которой уже можно отойти, — все это по каплям, по крупицам собирало опять в один сосуд осколки человеческих судеб.

Трезворский наркологический центр неизменно выходил на первое место в республике. Года через три в связи с тем, что кампания по сверхконцентрации и сверхмеханизации провалилась, вследствие чего наплыв гостей поубавился, решено было сократить часть наркологических центров, и среди сокращенных оказались и Трезворы. Последние больные выписались, врачи уехали, имущество передали ближайшим больницам, и снова за ваше здоровье и за наше здоровье, и пусть у вас будет все хорошо, и у нас пусть будет все хорошо...

Когда душа потеряла свою тропку к Всевышнему, человеческую судьбу покинуло ее вечное начало. Потеряв ту живую нить, которая от Адама и Евы, пройдя через нас, уходила в бесконечность, мы свое существование сузили до рамок, обозначенных на могильных надгробиях, — родился тогда-то, умер тогда-то. Исчезновение духовного начала в жизни открыло путь материальной вакханалии, которой все мы отдали дань. И ничего удивительного в том, что судьбы наши оказались в руках воров и проходимцев. И вот после грехопадения, после бесконечных экспериментов — измотанный до последней степени народ, истощенная, отравленная ядохимикатами земля. Погибают леса и реки. Вместе с окружающей природой стала закатываться и наша звезда. Горько об этом писать, но в Молдавии из каждых десяти новорожденных по меньшей мере один...

Я все рвусь тебя спросить, дорогой читатель, что бы ты разместил в том райском... А, да ты уже догадался. Действительно, в Трезворах разместили школу для умственно отсталых ребят. Конечно, были бы у нас острова, были бы у нас глубокие дремучие леса, проблем бы не было, но, не имея всего этого...

Кухарка, скотница, санитарка, теперь вот стала прачкой... Поразительная смесь твердости и упорства с безропотной, бесконечной добротой. Сыновья выросли, поженились, осели в деревне. Как-то под вечер в одночасье скончался муж. Оставшись одна, Майка наказала купить ей

в городе несколько метров темного подкладочного сатина, сама сшила себе подрясник, повязала голову темным платком, засучила рукава...

Конечно, это очень хорошо, что ребятам из школ для умственно отсталых покупают джинсовые костюмчики, но они непоседы каких мало, и известно ли тебе, дорогой читатель, что труднее всего в мире стирается джинсовая ткань? Попад в воду, она превращается в доску. Двести досок в виде штанишек и еще двести досок с рукавами и пуговицами. Постирать, поштопать, убрать, а по ночам у этих ребят пробивается тоска по родному дому. Ночами они плачут и, будучи больными, не в состоянии сами успокоить себя. Наоборот, заражают друг друга воплями. Вдруг в полночь вселенский плач сотрясает бывшую обитель, и тогда Майке приходится вставать, идти в этот дом безутешной скорби и стать матерью, родным домом, надеждой и опорой...

Как-то на севере Молдавии, гуляя по расположенному рядом со школой кладбищу, я наткнулся на отца Георгия, священника, которого знаю уже много лет. Старик терпеливо дожидался покойника. Дело в том, что с некоторых пор в Молдавии запрещено священнику провожать покойника в последний путь. Он служит, как правило, малую панихиду в доме усопшего, затем вторую на кладбище, а сама процессия с пением и давно установленными обрядами идет медленно по селу, но без священника.

День был жаркий, село большое, траурная процессия с пением и остановками двигалась медленно, и мы с отцом Георгием присели на маленькую скамеечку у какой-то могилки. Поговорили о тех полутора тысячах закрытых в Молдавии церквях, погоревали о том, как мало осталось от тех семидесяти наших монастырей.

— Почитай, одна крошечная Жабка и осталась, — вздохнул отец Георгий.

— Почему одна Жабка? А Трезворский монастырь?

— Там же теперь школа для этих, как их, для дебилов. Ну и последний, пока что сохранившийся источник остался...

— А монашка?

— Какая монашка?

— Говорят, каким-то чудом там все-таки уцелела...

— Пустое... Та старушка, она не то что никогда не была пострижена в монашки, у нее нету даже обыкновенного благословения на ношение подрясника!

Господи, подумал я, куда докатился мир творений рук твоих?! Разве жизнь, отданная добру и милосердию, не есть уже само по себе свидетельство служения тебе? Разве это служение нуждается еще и в присвоении особого чина? И если для твоих служителей твой завет человеколюбия есть только слово, но не есть дело, то не рискуют ли храмы твои

Одно из самых древних бедствий Молдавии — хроническая нехватка пресной воды. Сколько раз, изведенная засухами, эта наша земля умирала на глазах наших предков, и сколько наших предков поумирало вместе с ней! В конце восемнадцатого века, во время второй русско-турецкой войны, сорокатысячная армия Румянцева-Задунайского, застигнутая жарой и засухой на Кубольте, осушила эту речушку в два дня и вынуждена была платить по золотому рублю за каждый бочонок днестровской воды, которую наши предки везли на своих клячах за сорок с лишним верст. В прошлом веке, когда запасы пресной воды никого особенно не интересовали, все географические справочники отмечали, что по запасам воды Бессарабская губерния стоит на последнем месте в Европе. Наши летописи и предания полны сказаний о засухах, из которых последняя, послевоенная, 46—47-го годов, была одной из самых страшных и опустошительных.

Подверженная засухам, Молдавия к тому же не обладает решительно никакими резервами влаги. Три небольших притока Днестра — Рэут, Кубольта и Кэйнарь — в жаркое время лета почти полностью пересыхают. Главные же наши реки — Днестр и Прут, — питаются карпатскими снегами, в середине лета тоже усыхают наполовину. Единственным запасом, оставленным нам судьбой на самый-самый черный день, был крохотный выход к устью полноводного Дуная и маленький отрезок Черноморского побережья. Но при создании Молдавской ССР карандаш учителя и вождя народов отрезал юг нашего края, передав его вместе с Измаильской областью Украине. В качестве компенсации Молдавия получила несколько наиболее страдающих от засухи левобережных районов Украины.

Оставалось одно — взять лопату и пойти копать в надежде напасть на тот самый-самый что ни на есть полноводный источник. Кто только не пробовал свое счастье на наших засушливых холмах! Какими только художествами не украшают колодцы до сих пор! Какими только легендами не окружают в Молдавии труды колодезных дел мастеров!

За минувшие полвека в моей родной деревне Хородиште из нашего рода почти никого не осталось. Ушли близкие, ушли и дальние. Нету больше ни отчего дома, ни того гигантского каштана, что красовался когда-то у наших ворот, и только в поле, недалеко от Кубольты, белеет одинокий камень, некогда прикрывавший колодец, выкопанный моим отцом. И хотя нет уже ни самого колодца, ни воды, само то место, а может быть, камень тот, в устной речи хородиштян все еще именуется «колодцем Пентелея».

И ничего нет удивительного в том, что колодцы в молдавских селах, а также место, к ним примыкающее, — одно из самых светлых и по-



читаемых мест. Здесь по утрам хозяйки в спешке обмениваются новостями. Детвора в течение дня нет-нет да и побежит к колодцу. Туда с пустым, обратно с полным ведром, ибо одно из первых поручений, на котором молдаване воспитывают свое потомство, — это принесение свежей воды. По вечерам у колодца собираются господа, главы семейства, ибо замечено было, что рядом с колодцем, под мерный перебор капель, и голоса как-то полнее звучат, и мысли приходят зрелые, славные, и, может, потому то, что у молдаван решается «у колодца», становится делом незбылемым, почти что святым.

### 3

Поговорив о земле и о воде, самое время поговорить о чувстве меры, о том странном, таинственном соотношении всего и вся, на котором, думается мне, держится мир. Потеряв чувство меры, мы, как правило, теряем все. Долгие века экологический баланс засушливой Молдавии, собранный нашими предками по крупинке, держался на одной ниточке, и достаточно было одного непродуманного решения...

Но, бог ты мой, до чего немилостива судьба к этой моей малой родине! Она ни за что не хочет дать ей золотую середину. Либо в начале, либо в конце. Либо в верхней, либо в нижней строчке. Первое место в Европе по плотности населения — сто двадцать пять человек на один квадратный километр. И, как назло, последнее место по запасам воды. Опять-таки до недавних пор первое место в Союзе по концентрации неконтролируемой власти в одних руках. И — последнее место по тому, что принято теперь называть гласностью...

Тяжело об этом писать, но настали сроки называть вещи своими именами. Ни для кого не секрет, что обычно именуемый «застой шестидесятых годов» (надо полагать, со временем подберут более точное определение, соответствующее сути явления), так вот, этот пресловутый застой расправил свои крылья и взлетел с молдавских холмов. Плодородные земли, безропотная натура молдаван и обилие хорошего вина как бы подталкивали непомерные амбиции выйти за пределы здравого смысла и сотворить нечто такое, чтобы потрясти страну, а может, и весь мир.

Начали с создания хаоса, ибо нервный хаос — естественная среда для самодуров. Народные традиции и нравственные устои были первыми принесены в жертву как патриархальная мишура, мешающая продвижению вперед. Самодуру нужно, чтобы обязательно все начиналось с него. До него была пустыня, пришел он, и началась жизнь. Первый удар приняла на себя молдавская интеллигенция, особенно художественная, чутко реагирующая на все колебания традиций и морали. Мигом вырабатывались ярлыки, которые предстояло носить десятилетиями. Сколько светлых начинаний, в которых мы сегодня так нуждаемся, бы-

ли уничтожены в самом зародыше; сколько перекаленных судеб, сколько пришлось-таки скоронить...

Немало повидавшая на своем веку, Молдавия смотрела печальными глазами на эти буйства разрухи под знаменами созидания, и эти печальные, всепонимающие глаза стали раздражать великих экспериментаторов. Решено было растряссти саму республику, дабы она иначе смотрела на мир, и, бог ты мой, сколько раз карта республики кроилась и перекраивалась заново! На памяти одного поколения села по пять-шесть раз переходили из района в район. После бесконечных перетасовок, при нашей плотности населения, удалось-таки основать тут городочек, там районный центр, ибо, согласитесь, что это за руководитель, который так-таки ничего не основал...

Вопрос о водных ресурсах решено было поднять на небывалую высоту. Разработали гигантские планы и, пока те великие планы рассматривались разными инстанциями, распорядились вместо маленьких прудов создать огромные накопители. Зарегулировали стоки мелких вод, пока не погубили их. Тем временем великие накопители испаряются. А что если связать Молдавию единой всевропейской водной артерией? Почему бы кишиневцам не попить дунайской водицы? Но вот идея канала Дунай — Днестр — Днепр не получает поддержки в верхах, накопители усохли, и Молдавия остается без той толки воды, которой жила...

Самодура, как известно, отличает лихорадочная деятельность, самодуру нужно утвердиться, пока не провалился. Хорошо было Дунаю и Днепру, находящимся вне пределов досягаемости кишиневских заправил, но бедному Днестру-таки досталось. Принялись строить в спешном порядке Дубоссарскую ГЭС. Экономический эффект этой гидростанции ничтожен по сравнению с теми бедами, которые она натворила. Безводный Кишинев и сам питается днестровской водой, и, перебив ритмичность маловодной реки, великие энергетики поставили под угрозу водоснабжение самой столицы...

Недостаток пресной воды стал сказываться и на жителях Одессы. Ах, вы так, сказали, должно быть, в Киеве! Отбираете воду? Ну, погодите же... И создали в верховьях Днестра свое водохранилище, отобравшее добрую треть днестровской воды. Если к этому добавить происшедшую несколько лет тому назад катастрофу — прорыв плотины соляных отходов в Западной Украине, убившей все живое в этой реке, — если учесть, что, не успев толком вернуть реку к жизни, в Рыбнице, на ее берегу, спешно воздвигнут металлургический комбинат, то ничего удивительного в том, что Днестр стал одной из самых загрязненных и обреченных рек...

Решив таким образом проблему водоснабжения, принялись за садоводство. Выкорчевали все старые сады, заложили несколько гигантов, из которых флагман молдавского садоводства — красавец, раскинувшийся на двадцать тысяч гектаров. Смущало, правда, то обстоятельство, что та-

кой гигант невозможно охватить взором, а если такое чудо не показывать иностранным гостям, какой тогда толк во всех этих деяниях!

Выход был найден. Решили показывать сад с вертолета, а сами плоды для удобства брать с собой в кабину. И долгие годы бесчисленные делегации, хрустя сочными яблоками, любовались гигантской панорамой. Легенды об этом саде разнеслись по всему миру, и мало кому приходило в голову, что этот сад — памятник самодурству. Весной не хватает пчел для его опыления, сотни гектаров остаются холостыми, без урожая. Чтобы выровнять положение, хозяева этого чудо-гиганта каждый весной объезжают хозяйства юга Украины и Молдавии, уговаривая пчеловодов помочь им. Предоставляется транспорт, более того, платят по пятнадцати рублей за каждый улей, но вот пчеловоды не торопятся, и на это у них свои резоны...

Создание блистательной республики на юге шло полным ходом. Мешали, правда, косые взгляды большинства, те самые крупницы народного здравого смысла, которые редко когда попадают на удочку. Нужно было как-то избавиться от этих саркастических взглядов большинства, и вот южными орлами овладела идея — поставить самих производителей материальных благ вне игры, деликатно оттеснив труженика от той самой земли, на которой он стоял обеими ногами.

Сегодня мы с горечью вынуждены признать, что этот чудовищный план отчасти удался. Поначалу планирующие организации взяли на себя стратегическую сторону дела — что, где, когда и как сеять. При создании крупных межколхозных станций технического обслуживания вспашка, сев и уборка тоже стали делом централизованной власти. Совет по делам колхозов собрал все экономические ресурсы в один карман. Только обработка полей все еще оставалась в руках самих колхозников. Некоторое время бурьяны и сорные травы служили как бы гарантом демократии — пока росли сорняки в поле, нужно было считаться с волей большинства.

Агрохимия стала манной небесной для кишиневских экспериментаторов. Таинственная пыль, разбрасываемая с самолетов, уничтожала сорняки, не трогая посевы, но, что самое главное, эти химикалии развязывали руки авантюристам, позволяя не считаться более ни с кем. Агрохимия косвенным образом вдохнула новую жизнь в самые фантастические планы, и южные орлы на глазах изумленного мира взлетели наконец с молдавских холмов. Труженики полей остались, как говорится, с носом. Для прокорма им бросили кость в виде строительства ферм, сбора фруктов, овощей и выращивания табака.

Четверть века над полями Молдавии выются химические бури. С утра до вечера, почти круглый год, взлетают в воздух самолеты с пестицидами и гербицидами. То, что не влезает в самолет, подмешивают к семенам, устраивают дополнительные подкормки, растворяют в воде

и поливают на огромных площадях. А то можно нередко увидеть и старушку, которая ходит по своему приусадебному участку с ведром, веником, брызгая что есть мочи на этот, как его, а чтоб ему пусто было...

Режим чрезвычайного напряжения сил стал нормой для молдавской земли. Аномальной мне представляется экономическая ситуация республики. При бюджете в 2,7 миллиарда рублей совокупный общественный продукт Молдавии достигает 18 миллиардов. Да позволяют мне центральные власти усомниться в мудрости такой политики. Сегодня преуспевающий хозяйственник думает только о том, чтобы как можно больше выжать. Умный размышляет над тем, что он даст сегодня, а что останется на завтра. Мудрый же думает не только над сегодняшним и завтрашним, но и над послезавтрашним днем, ибо на этой земле жить и работать нашим детям, а они нам все-таки не чужие...

Увы, все это пустые мечтания, потому что пока что наша гордость и наша слава, наша земля-кормилица, стала заложницей в руках карьеристов разных мастей и калибров. Сыпь пестицидов сколько угодно, лишь бы побольше собрать да побыстрее доложить наверх радостную весть о выполненном и перевыполненном плане, лишь бы продвинуться по служебной лестнице хоть сколько-нибудь. А то, что со временем из разных точек начнут возвращать продукцию как непригодную для употребления в пищу, так это же произойдет в другом квартале, и скандал пойдет по другим департаментам...

В конце концов использование ядохимикатов в Молдавии вышло из-под контроля. Колхозам предоставлена полная свобода — сыпь и сыпь. И они сыплют. В десять — пятнадцать раз больше, чем принято по стране. Когда лето засушливое, ветры вместе с пылью снимают с пашен эти химикаты и несут их на села, на сады, на лица людей... Временами соответственно с использованными ядохимикатами меняется и цвет населения — в одних районах лица кирпичного, в других серо-мышинного цвета. Когда идут обильные дожди, потоки влаги снимают с пашен ядохимикаты, заливают ими долины, оставляя скот без пастбища, потому что сегодня почти все долины между холмами — мертвые для растительности зоны.

Самое же страшное, однако, — это хорошая погода, с теплом и умеренными дождями, когда химикаты проникают куда надо и делают свое черное дело. Потому что, как это нетрудно догадаться, на сорняках они не останавливаются. Ассимилируясь с питательными веществами, химикаты проникают в колос, в ягоду, в овощ. Особенно опасны нитраты, наиболее разрушительная часть этих ядохимикатов. Попад в человеческий организм и переименовавшись в нитриты, они прежде всего атакуют иммунную систему и наследственный аппарат. Сегодня самая большая проблема молдавского здравоохранения — иммунный дефицит населения. Что до наших наследников...

О детях нужно поговорить особо, ибо именно дети приняли на себя главный удар химизации сельского хозяйства. Ни для кого не секрет, что после увлечения пестицидами в Молдавии стали рождаться умственно неполноценные дети. Если в довоенные или первые послевоенные годы в Молдавии приходилось от силы по одному — да простит мне читатель это выражение — недоумку на все село, то сегодня в Молдавии действуют около пятидесяти школ, в которых собраны более десяти тысяч детей. Но это только часть из них. Многие родители не захотели расстаться со своим горем, и таким образом в каждом молдавском селе, в каждой школе, в каждом классном журнале после списавла учеников следуют три-четыре пропущенные строчки, после чего еще пять-шесть фамилий, напротив которых — ни единой отметки.

Долгое время считалось, что виной всему — алкоголь, однако ученые из Молдавского института гигиены пришли к заключению, что если из ста случаев двадцать можно объяснить злоупотреблением спиртными напитками, то остальные восемьдесят, несомненно, результат интенсивной химизации. Заставляет призадуматься и то обстоятельство, что, будучи республикой многонациональной, в этой беде представлена только одна нация. Пятьдесят школ для умственно отсталых, и все пятьдесят — молдавские!

Вторая беда Молдавии после химизации — это выращивание табака в ни с чем не сообразных размерах. Подумать только: площадь, отведенная под табак, приближается к площади наших виноградников, наших садов, и уж кто-то из остряков спрашивал себя: не пора ли влести в герб республики вместе с колосьями и виноградными гроздьями и дымящуюся сигару?

Говорят, стратеги из руководства республики категорически настаивают на выращивании табака, ибо табак дает валюту. Слов нет, валюта — дело хорошее, но не любой же ценой! Ибо кто не знает, что большая часть труда на табачных плантациях приходится на долю детей. И хотя использование детского труда при выращивании табака строжайше запрещено законом, не нужно обладать нюхом Шерлока Холмса, чтобы застать в каждой деревушке, на каждом шагу девчонок и мальчишек со слезящимися глазами, кропящими над шнуровкой табака. Рядом, чуть поодаль, стоят в растерянности педагоги, и что-то не слышно, чтобы хоть одному директору школы было сделано хотя бы устное замечание за то, что бросил своих питомцев в это адово море никотина.

Еще одно испытание для молдавской детворы — уборка овощей и фруктов. Этот трудоемкий процесс почти полностью ложится на хрупкие плечи школьников и студентов. За лето, перед тем как нарумяниться и налиться соком, эти яблоки, персики и виноградины, как мы уже знаем, многократно обрабатывались разными химикалиями, а молодежь, ей что! Поработали, потрепались, посмеялись, кинули в рот ягод-

ку-другую. А Молдавия, как мы помним, страдает хронической нехваткой воды. Там, в поле, горло промочить нечем, не то чтобы и фрукты еще вымыть. И так из года в год армия школьников и студентов на наших холмах, с глазу на глаз с этой чудовищной силой, убивающей все живое...

Что удивительного в том, что медицинскими комиссиями при военкоматах до трети молдавских ребят призывного возраста признаются непригодными для несения воинской службы. О том, что ждет девочек, мы уже говорили. Добавим разве то, что при Кишиневском пединституте открыт факультет по подготовке учителей для умственно отсталых ребят.

5

Поговорив о земле, о воде и о той критической ситуации, в которой они оказались, самое время перейти к запятым. Первыми забили тревогу молдавские писатели. Что-то неладное стало твориться с родной речью. Вместо красивого, певучего, замешенного на древней латыни языка, какой-то серый поток звуков, мешанина слов молдавских и русских, а то попадались и комбинированные гибриды, которые, как говорится, и ни туда и ни сюда... Вся эта звуковая фанфаронада не только нарушала эстетические принципы языка, но ставила в тупик самих беседующих, ибо зачастую трудно было догадаться, кто и что хотел сказать.

Поручено было институту языка и литературы исследовать суть проблемы и войти в инстанции с рекомендациями. После долгих, кропотливейших исследований ученые-филологи пришли к заключению, что все дело в запятых. С запятыми у молдаван стали происходить какие-то курьезы. Вдруг с чего-то весь народ как бы разучился ими пользоваться. Либо игнорируют их целиком, сбивая речь в единый поток, либо расстают по одной запятой после каждого слова, что опять-таки ни с чем не соотносимо.

Эти споры о запятых, должно быть, бушевали бы еще долго, если бы ученые-биологи не пришли на помощь своим коллегам-филологам. И вот, сначала тихо и робко, в коридорах и частных домах, затем все громче и громче, с трибун и страниц печати, стали говорить о признаках деградации в результате избыточного использования ядохимикатов.

Вы думаете, это вызвало сильнейшее волнение в высших эшелонах республиканской власти? Думаете, срочно были разработаны меры по строжайшему регламентированию ядохимикатов? Ничуть не бывало. Было принято постановление о всемерном улучшении преподавания и изучения молдавского языка, в котором можно найти и такой любопытный параграф — о совершенствовании ораторского искусства на молдавском языке...

А заметил ли ты, дорогой читатель, поразительный параллелизм, неотвратимую для нашей жизни двойственность? Как-то так получается, что слова у нас на одном берегу, дела на другом, и вместе они почти никогда не сходятся. В результате твердим день и ночь о разумном ведении хозяйства, а руки наши продолжают творить неразумное. Подсчитываем возможные прибыли в рублях, в миллионах, а тем временем то, что вне цены, то, что даровано нам судьбой и природой, летит под откос. Поднимаем на щит гласность и перестройку, а тем временем назначаются на ключевые посты люди, для которых гласность и перестройка — все равно что нож острый. Клянемся добром, мечтаем о счастье, о красоте, а тем временем...

Короче говоря, насыщение почвы в Молдавии ядохимикатами занимает сегодня первое место в мире. Нарушение экологического равновесия привело к гибели пчеловодства, нарушило миграцию перелетных птиц; поставлена под угрозу жизнь наших лесов.

Все-таки поразительная страна... Огромные просторы, тысячи и тысячи километров границ, чувствительные радары день и ночь берегут неприкосновенность нашей земли, а тем временем день за днем эскадрильи сельскохозяйственной авиации поднимают в воздух и распыляют тысячи тонн ядохимикатов, губя жизнь той самой земли, которую так рьяно и зорко охраняют пограничники. Да в самом ли деле мы великая, цивилизованная страна, или все это нам приснилось? Возможно ли издавать тысячи законов и постановлений по всяким, порой пустячным поводам и не иметь основополагающих законов, защищающих нашу землю, воду, воздух?! Допустимо ли содержать такую огромную армию правоохранительных органов, которая не в состоянии защитить наше потомство, наше будущее от нашего же собственного варварства? Иметь тысячи организаций и не иметь единого органа по защите генофонда, той, сказал бы я, святой биологической ферментации, которая порождает личности, творческую энергию народа и на которой все держится?!

## 7

Было бы несправедливо утверждать, что за последние годы в Молдавии так-таки ничего не изменилось к лучшему. Завал, однако, был так велик, что — да простят мне молдавские товарищи — их усилия по преодолению застоя носят чисто символический характер. Шабашно-разгульный период, замешенный на хмеле и воровстве, держит наготове множество своих тайных и явных сторонников. Мафии тем и живучи, что подтверждаются законам мимикрии, оборачиваются всем, чем угодно, и никогда тем, чем они являются на самом деле. Сегодня они все за перестройку. Они согласны с тем, что химизация сельского хозяйства Молдавии при условии хронической нехватки воды и высокой плотности населения есть дело уголовное.

— Но, конечно, если использовать это выражение просто как символ. Потому что,— вполголоса добавляют они,— там, наверху, конкретной ответственности нет.

— А что есть там, наверху?

— Стратегические интересы. О чем ни спросишь — *продиктовано было стратегическими интересами страны*. Вот и весь сказ.

— И что, мы так и будем сидеть на отравленной земле и никто за это отвечать не будет?!

— В принципе за это должна бы отвечать Академия наук республики, но на их мнение полагаться нельзя.

— Почему?

— Да потому, что все эти манипуляции с водой и химизацией — в конечном счете дело рук Академии.

— И вы сложа руки смотрите, как Академия ставит свои трагические опыты?

— С чего вы взяли, что мы сидим сложа руки? Принимаем меры. На днях вот Верховный Совет республики рассмотрит Закон о защите окружающей среды до двухтысячного года и далее...

Слова, слова, слова... А тем временем недалеко от столицы бульдозеры с грохотом разрывают глубины, готовя место под фундамент новой всесоюзной стройки. Крупнейшего в Европе завода по производству... чего бы вы думали? Пестицидов.



## СОДЕРЖАНИЕ

Живой голос народа . . . . .	3
Одиночество пастыря . . . . .	8
Самаритянка . . . . .	24
Земля, вода и знаки препинания . . . . .	36

ДРУЦЭ Ион Пантелеевич

САМАРИТЯНКА

*Рассказы*

Редактор А. В. Караулов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 1.12.88. Подписано к печати 25.01.89. Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 3,08. Тираж 150000 экз. Заказ № 3462. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ ВЫСШЕГО КЛАССА «АМФИТОН-002»**

● Усилитель обеспечивает высококачественное усиление, оперативное управление и коммутацию звуковых сигналов от различных источников музыкальных программ.

● В конструкции усилителя предусмотрены возможности подключения фильтра, ограничивающего высокие и инфранизкие частоты, плавной регулировки громкости с тонкомпенсацией, перевода усилителя в режим линейного усиления. Тембр звучания регулируется отдельно по высоким и низким частотам. Диапазон воспроизводимых звуковых частот не уже 20—31 000 Гц, а максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом не более 2х50 Вт.

● «Амфитон-002» стерео отличает надежность в работе, высокая оснащенность сервисными устройствами, наибольшие габариты.

Цена без акустических систем — 250 руб.

**ЦКРО «Радиотехника».**